

Александр
Архангельский

18+

БЮРО ПРО ВЕР КИ

ПРЕМИЯ
“БОЛЬШАЯ
КНИГА”

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

ООО

Проза нашего времени (АСТ)

Александр Архангельский
Бюро проверки

«Издательство АСТ»

2018, 2020

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Архангельский А. Н.

Бюро проверки / А. Н. Архангельский — «Издательство АСТ»,
2018,2020 — (Проза нашего времени (АСТ))

ISBN 978-5-17-120754-0

Александр Архангельский — прозаик, телеведущий, публицист. Автор книг «Музей революции», «Цена отсечения», «1962. Послание к Тимофею» и других. В его прозе история отдельных героев всегда разворачивается на фоне знакомых примет времени. Новый роман «Бюро проверки» — это и детектив, и история взросления, и портрет эпохи, и завязка сегодняшних противоречий. 1980 год. Загадочная телеграмма заставляет аспиранта Алексея Ноговицына вернуться из стройотряда. Действие романа занимает всего девять дней, и в этот короткий промежуток умещается всё: история любви, религиозные метания, просмотры запрещенных фильмов и допросы в КГБ. Всё, что происходит с героем, — не случайно. Кто-то проверяет его на прочность... 3-е издание, исправленное и дополненное

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-120754-0

© Архангельский А. Н., 2018,2020
© Издательство АСТ, 2018,2020

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая | 6 |
| День первый | 6 |
| День второй | 30 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 48 |

Александр Архангельский

Бюро проверки

Мы живём или перед войной, или после войны.

Инна Лиснянская

Часть первая Возвращение

День первый
19. 07. 1980

1

Поезд ехал три дня и две ночи. Вагон был набит под завязку, пахло подгнивающими помидорами, мужички дымили горькой «Примой» и по коридору расплзлось марево. В соседнем купе днём и ночью звенели стаканы: там смеялись, плакали, ругались и мирились, чокались и пели вразнобой. То «поутру они проснулись», то «мимо пролетают поезда», то «не жалею, не зову, не плачу». Кто-то резко ударял по струнам и, заглушая пьяную компанию, рычал: «Но что-то кони мне достались при-ве-ред-ливия...» Купе благоговейно умолкало.

В Рязани объявили долгую стоянку. Через весь состав проследовал наряд милиции: милиционеры были в синих форменных рубашках с коротким рукавом; за ними, безвольно свесив язык и тяжело дыша, плелась овчарка. Сухощавый капитан пролистывал паспорта, смотрел прописку, иногородним приказывал выйти. Ну да, гражданочка, билеты продали. А не имели права продавать: в столице нашей Родины – Олимпиада. И, приподняв фуражку, промокал платочком лысину, продолговатую, как самаркандская дыня.

Я помнил, что сегодня олимпийское открытие: газеты привозили в стройотряд еженедельно, радиоточка гремела от гимна до гимна, с шести до двенадцати ночи, союз нерушимый республик свободных сплотила навеки велииикааая Русь, а в сасыкольском штабе был почти исправный телевизор. По вечерам я удлинял антенну на транзисторном приёмнике, приворачивал к ней тонкий медный провод, закидывал его на крышу и слушал короткие волны – то религиозные беседы Гаккеля на Би-Би-Си, то проповеди Шмемана на радио «Свобода», то набредал на радио Израиля и не мог удержаться от смеха: «Отряд получил боевое крещение». Заодно проглатывал и вражеские новости. Слышно было несравненно лучше, чем в столице: в степи глушилки ставить бесполезно.

Если бы тогда, на факультетском комитете комсомола, я получил желанную рекомендацию, не пришлось бы ехать в этот чёртов стройотряд, а значит, не пришлось бы возвращаться прежде срока. Выучил бы польский или чешский (а может быть, чем чёрт не шутит, и мадыарский, с его зубодробительной фонетикой, дьодьзертар, сепьек ланьок, мене бекерюль), встречал бы туристические группы в Шереметьеве, по вечерам писал секретные отчёты для кураторов из Комитета, а часов с семи утра стоял бы, сонный, у входа в гостиницу «Спутник» и торопил похмельных чехов, венгров, югославов и поляков: Товарищи, автобус ждёт... Товарищи, автобус чека... Молим те иди у аутобусу... улызы у кабину... Но мне рекомендацию не дали: комсомольский секретарь пропихивал своих девчонок. Пришлось отправляться в дальний стройотряд, где всё, что творилось в Москве, казалось чужим и далёким. Кто бы ни рассказывал. Советский ведущий торжественным голосом или западный диктор – глухим. Дорогому Леониду Ильичу вручали орден золотой звезды вьетнамского героя, июньский пленум выражал поддержку братскому афганскому народу, академик Сахаров, ещё зимой отправленный в закрытый город Горький, заявлял решительный протест, хорошела олимпийская сто-

лица, наши давили душманов, моджахеды бились за свободу, несколько спортивных федераций подключились к бойкоту Москвы. И тут же – музыкальное сопровождение:

*Не страшны дурные вести,
Начинаем бег на месте,
В выигрыше даже начина-ю-щий.
Крррасота! среди бегущих
Первых нет – и отстающих,
Бег на месте обще-прими-ря-ю-щий.*

На вокзале пахло горячим асфальтом, свежие лужи сияли. Торговцы шумно выгружали помидоры, проводницы протирали поручни, дамы, подобрав края цветастых юбок, царственно спускались по ступенькам, вдоль вагонов пробегали торговки и умоляюще зывали к пассажирам:

- Ка-а-артошечка! С у-у-укропчиком!
- Беру! – прокричал я, высунувшись из окна.
- А вот кому солёные огурчики? – немедля подскочила торговка.
- И огурцы.
- Пиво! Кура! С вас три рубля!
- А почему так дорого?
- Уступим! Два пи-исят!

Я вернулся в пустое купе (моим попутчикам пришлось сойти в Рязани), снял тяжёлые и неудобные очки, протёр холщовой тряпочкой царапанные линзы: стёкла дорогие, цейссовские, папа где-то раздобыл по благу, их пора бы поменять, только где сейчас достанешь новые? Откупорил прохладное пиво; этикетка на бутылке отпотела и сползла, как переводная картинка. Выложил картошку на промокшую газету, а курицу на жирный целлофан, серой горкой насыпал кристаллическую соль. Посмотрел с вожделием; вспомнил, что перед едой не помолился. Вздохнул, пробормотал скороговоркой: «...ястие и питие рабом Твоим...» Вот теперь совсем другое дело. Благодать. Правда, жарко и душно, как в бане, зато перекреститься можно, не скрываясь. Всю дорогу приходилось складывать пальцы щепотью и солить еду крест-накрест, чтобы никто не заметил. И крестик я на всякий случай подколол с изнанки, под кармашек. Мало ли какой попутчик попадётся; донесёт – проверят документы, сообщат в Московский императорский университет (в восьмидесятом стало модно так его именовать), и доказывая потом, что ты не верблюд. Нет; бережёного Бог бережёт.

Только что прошла обвальная гроза, и за окнами сверкала зелень, а там, в степи, всё было плоское и жёлтое, от деревьев тянулись облезлые тени. Бараки из серого шифера были сколочены наспех, стёкла в окнах заменял полиэтилен, и всё время уныло зудела мошкa. Мы ходили в марлевых накидках, защищая от гнуса не только лицо, но и уши, и шею; откинуть марлю было невозможно, у курильщиков на месте рта образовались никотиновые пятна. В воздухе висели чёрные гудящие шары, вдоль барачных шастали фигуры в белом, то ли бедуины, то ли мумии; Сальвадор Дали калмыцкого разлива.

Зато теперь с изнанки стройотрядовского куртеца был пришит самодельный кармашек, а в кармашке – пачка новых серых сторублёвок. Всю дорогу приходилось корчить из себя мерзляку; я накидывал куртку, полуспал, маринуясь в солёном поту; проснувшись от резкого лунного света, в ужасе ошупывал подкладку. Уф. Порядок. Всё на месте. И заработанные деньги, и та довоенная запонка из тёмного безжизненного янтаря, пробитого медной заклёпкой. Вместо стерженька – короткая латунная цепочка с овальной пластиной-креплением. Священная реликвия *оттуда*.

Вообще-то я планировал вернуться к сентябрю, незадолго до защиты кандидатской, и заработал бы намного больше, как минимум тысячи две, а может, и две с половиной, но четыре дня назад я получил письмо. Прочёл его раз, прочёл два; смысл доходил до меня неохотно – как всегда бывает с неприятными вестями. Однако вариантов не было; что называется, приказ не обсуждают. Я отвёл в сторонку бригадира и промямлил что-то про невесту, попросившую вернуться. «Что, залетела? – ухмыльнулся бригадир. – Нет? Лёх, да будет врать-то. Ладно, чё тут, поезжай, тудем-сюдем, а то ещё пропустишь сроки, окольцуют. Но за это вычту треть, мне работягам на- до компенсировать. Сам понимаешь, договор есть договор».

Бригадир на то и бригадир, чтоб не оставлять себя в обиде.

...«И вновь продолжается бой» – пело дорожное радио, поезд плотоядно перестукивал колёсами.

Вдруг песня всхрипнула и захлебнулась, начальник поезда шершаво дунул в микрофон: прибываем на конечный пункт, станция Москва-Казанская, десятая платформа.

Я вышел на перрон, встал под опасное жёлтое солнце. Пахло асфальтом, мазутом, грузчики орали вечное *пыстыранись*, хотя пыстыраться было некому: из вагонов вышло несколько случайных пассажиров, остальных поснимали в Рязани.

2

Москву я узнавал с трудом. Площадь трёх вокзалов освежили поливалкой, на дороге заменили рваный слой асфальта, наспех покрасили рыхлые стены домов, оставляя густые затёки пузырчатой краски. В продуктовом заменили вывеску: красное Р выпирало горбом, Ы алкоголически заваливалось набок. А в середину закруглённой площади, как белый стержень в солнечных часах, был воткнут накрахмаленный милиционер.

Сияющая чистая рубашка, рафинадная фуражка с золотой кокардой, полосатый игрушечный жезл.

Но площадь при этом – безлюдна. И машины проезжают редко-редко, как в кино про сталинские годы.

А где роящаяся масса пассажиров, где их коричневые чемоданы с металлическими уголками, где разлапистые серые баулы и зелёные брезентовые рюкзаки? Где каучуковые дети, скачущие по мостовым, – стой, куда тебя несёт, взял бабу за руку, баба рассердится, ну же?

Асфальт сияет лужами, бликуют солнечные зайчики, шелестят разношенные шины. И вокруг – зияющая пустота.

3

Я зашёл в телефонную будку, вставил в прорезь двухкопеечную медную монетку. Серебристо-серый автомат сглотнул. Гудки тянулись бесконечно долго, и я уже стал задыхаться: будку снаружи покрасили масляной краской. Хорошеет олимпийская столица. Москва готовится к спортивным состязаниям.

И вот заколотилось сердце – я услышал:

– Алло-о-о...

Как же я скучал по этому родному голосу. Вполне обычному, не слишком низкому, не чересчур высокому, не певучему и не глухому, одному из миллионов. Но всё-таки единственному. *Своему*.

– Муся, ты?

– Я-а-а. Ой, это кто?

Когда Муся удивлялась, лицо у неё делалось детское. Вы меня решили обмануть? Точно нет? Точно-точно? Я верю.

– Алё-о-оша? Постой-постой, это как? Милый, ты откуда? Так хорошо слышно...

– Отсюда. С площади Казанского вокзала.

Раздалось тревожное молчание. В чём дело, что стряслось. Брови подняты, на круглом телёночком лбу образовались тонкие морщинки. Но растерянность – не Мусина черта; вот она уже определилась с чувствами, сосредоточилась, интонация стала учительской.

– Ноговицын, я не поняла. Ты, что ли, в Москве?

– Ну конечно, Мусик, я в Москве. И быю копытом. Когда мне подъехать? Или встретимся в центре?

– А уж как я хочу тебя обнять, – почему-то без особого порыва отвечала Муся. И опять перешла в наступление: – Но ты же собирался в августе вернуться? Котик, что случилось? Ты здоров?

– Всё отлично, я при встрече объясню.

Хотя я ничего ей объяснить не мог, поскольку не сумел придумать убедительную версию. Все три дня лежал на верхней полке, тупо смотрел в потолок и прокручивал варианты один другого фантастичнее и глупее. В соседнем лагере случилась эпидемия холеры, я сбежал, пока не заперли на карантин. В ВАКе поменялись правила защиты и бумаги нужно оформлять по новой. Или телеграммой вызвали в военкомат, чтобы подтвердить мою отсрочку? Всё никуда не годилось, было шито белыми нитками, а правду сказать невозможно.

Я затараторил, обгоняя встречные вопросы:

– Когда мы увидимся? Я приеду на «Сокол»? Или пойдём погуляем? Через час? Успеваешь? У какого метро?

– М-м-м... Давай на «Таганке», но позже... у меня тут срочные дела... ты извини... я же не знала... и родители через три дня вернутся, у них какой-то пересменок, я тут прибираюсь... может, в пять?

Самоуверенная Муся вдруг смутилась. Я не сразу врубился, в чём дело, подумал, причина в родителях: на моей памяти они прилетали в Москву из Алжира два раза и оба раза тут же отправлялись в Крым – я пока что не был им представлен.

И продолжил в бодрячковом наигранном тоне:

– Ты, Муся, опытный бездельник! Какие у тебя дела? Ты что, устроилась работать?

– Работать. Летом. Здрасьте вам пожалуйста! Только что окончила – и сразу? Ну уж нет уж, не дождётесь! Просто я тут познакомилась с такими интересными людьми... потом расскажу... так мы договорились в пять, напротив театра?

– Как скажешь, Муся.

– Котик, не сердись. Я очень, очень хочу тебя видеть. Тем более узнать, что там у тебя случилось. Но потерпи ещё чуть-чуть, так надо. Ну, до встречи?

– До встречи.

– Ура-ура. А мне как раз вчера дошили сарафан, голубой, в горошек и с та-а-акой оборочкой! Как будто знала. Всё, целую тебя, мой родной.

4

Я решил домой не заезжать. Потому что сегодня суббота, дома встретит растревоженная мама и ей не объяснишь, с чего я вдруг вернулся. Мама в ужасе отступит и всплеснёт руками, глаза у неё округлятся. Так она и знала, так и знала! Алёшу выгнали из стройотряда! выслали в Москву! завтра! нет, уже сегодня! исключат из института! сыночка, да как же ж! я! совсем! одна! И, не слушая дальнейших возражений, ринется накручивать пластмассовый прозрачный

диск на алом чешском телефоне: «Арнольд! Арнольд! Вот я же говорила... ты послушай... тоже называется отец!»

Затюканной она была всегда, но после папиного бегства в новую семью впала в ежедневную истерику, чуть что – начинала рыдать, и слёзы у неё в буквальном смысле слова брызгали, как в цирке у ковёрных клоунов. Только у них – глицерин, а у мамы слёзы настоящие, солёные. И на всё одна реакция: кошмар. Начиная со вступительных экзаменов и кончая соблюдением постов.

Года три назад я объявил ей о своём решении. Сел за кухонный стол, положил на него кулачки, как физиолог Павлов на картине Михаила Нестерова, и, по маминому выражению, *набычился*.

– Мама! – начал я, сверля глазами стол. – Послушай. Я должен тебе что-то сообщить. – И зачем-то резко вскинул голову; получилось как-то театрально.

Мама развернулась ко мне и обречённо вытерла мыльные руки о фартук.

– Лёша, что с тобой стряслось? Я так и знала.

– Мама, я принял святое крещение.

И снова опустил глаза, с неудовольствием отметив, что опять повторяю отца: начиная бесполезно препираться с мамой, он упирался взглядом в пол, скулы его розовели, папа слегка подавался вперёд. Наверное, не надо было так официально. Сказал бы по-простому: мамочка, так вышло, я крестился. Но что сделано, то сделано; назад я сдавать не умел.

– Ай-й-й-й-й, – тоненько, по-детски заплакала мама и завела свою любимую пластинку: – Ой-й-й, тебя же исключат из комсомола, выгонят из аспирантов и забреют, я же знала!

– И буду соблюдать посты, – продолжал я гнуть своё.

– Да какие посты, посмотри на себя! Кожа да кости. Здоровье надорвёшь, зрение скакнёт. Ай-й-й-й-й...

– Во-первых, не кожа и кости. Во-вторых, надорву – тебе же легче: в армию не загремлю.

– Да что же ты такое говоришь...

Мама тут же позвонила папе; тот приехал, суровый и важный, в чёрном костюме и густо-синем ленинском галстуке в белый горошек, усадил меня в кресло напротив и затеял обходительный, но строгий разговор.

– Алексей! Ну, я всё понимаю. Да, наверное, *там* что-то есть. В это верили великие. Философы Серебряного века... Но ведь не боженька! Не бабки! Не попы!

– Нет, папа, – твёрдо возразил я, потому что с отцом говорить по-другому было бесполезно. – Именно что боженька и бабки! – Подумал и назло ему добавил: – И попы.

Отец скривился и махнул рукой, а мама отступать не собиралась. Она вообще отступать не умела. В этом я пошёл в неё, а не в отца. Тот выпячивал нижнюю губу, делал козью морду, собирал в кучку глаза – но переупрямить его ничего не стоило. Посопровотившись, он сдавал назад. А мама сначала рыдала, затем притворялась, что всё хорошо, а потом начинала давить. Медленно, упорно, неуклонно.

Для начала она притащила с работы газету под названием «За рубежом». Лёша, ты просто обязан прочесть. Что там вытворяют эти янки, это же уму непостижимо. Я ответил *ygy* и засунул газету подальше, но мама вечером напомнила, и утром повторила, и в обед. Пришлось мне развернуть еженедельник (жирная свинцовая печать, следы остаются на пальцах) и пробежать глазами длинный очерк о том, как преподобный Джонс построил вместе с сектой город в джунглях. Члены братства распахали пустошь, запустили лесопильню. Устроили детские сады и ясли. Молились, плодились, трудились. Один сенатор прилетел с проверкой, его убили, а члены секты – все – покончили с собой. Матери перерезали горло детям. Отцы стреляли в жён и принимали яд. Когда в Джонстаун прибыли войска, спасти уже было некого. Беспощадное солнце. Царство смерти. Тысяча смердящих трупов. Автор выразительно живописал кошмары заграничной жизни и делал строгие гуманистические выводы.

– Ну? – спросила мама, когда я дочитал.
– Что «ну»?
– Ты хоть понимаешь, что это такое? Куда ты полез? Матери – режут – горло – детям.
– Ма-а-ам.
– Ты мне не мамкай. Ты прямо скажи: это ужас?
– Разумеется, ужас. Но я-то тут при чём? И это происходит не у нас. У нас такого быть не может, ты же сама ругаешься на Америку!

Мама не обиделась, но с этого момента по средам и пятницам, а затяжными православными постами ежедневно готовила скоромное. В другие дни могла запечь капустные биточки или пожарить кабачки, с полупрозрачными большими семечками, или нарубить сырой баклажанной икры с душистой кинзой, краснодарским сладким помидором и пахучим андижанским чесноком. Но мясopусту был противопоставлен мясоед, и точка!

Закупаться мама стала на Черёмушкинском рынке, самом дорогом и самом сытном; денег до зарплаты не хватало, мама постоянно перехватывала у сослуживиц и без конца брала надомную работу. Но зато теперь на завтрак были блинчики, политые сметаной, а на ужин – толстые котлеты, неприлично истекающие жиром, или вермишель по-флотски, с крупным рассыпчатым фаршем, или тушёная телятина, или баранья корейка плюс густое соте из баклажанов. Мы как будто переехали в страну, где нет очередей и дефицита, а есть ожившие картинки из книги о вкусной и здоровой пище. Заходя в соседний гастроном, в котором тошнотворно пахло тухлым хеком, а на бакалее высился прозрачный конус с подкисающим томатным соком, я чувствовал себя как иностранец, приходящий в ужас от советского народного хозяйства.

Мама молча ставила на стол тарелку, садилась напротив и обиженно смотрела, как сыночек раскурочивает блин, кучкой сгребает мясную начинку, вилкой очищает тесто от сметаны и сердито жуёт. Или сдвигает котлету на край и питается одной картошкой. Вермишель не подавалась дрессировке и не желала отлипнуть от фарша, но я уныло ковырял в тарелке, пока не справлялся с задачей.

А в воскресенье поднимался по будильнику – старому, пузатому, с большими металлическими ушками, в которых бодро колотились молоточки. Не зажигая света, пробирался в ванную, подносил ко рту зубную щётку и в ужасе отдёргивал: нельзя. Почему нельзя? А потому что запретили.

Обычно исповедовал отец Георгий. Жизнерадостный и не любивший тратить время понапрасну. Посверкивая золотом коронок, он вопрошал: «Ну шо? и словом, так сказать, и делом, так сказать, и помышлением?», и, не слушая ответа, радостно вздымал епитрахиль, как женщины вздымают простыню, стеля постели. Но однажды я попался в лапы настоятелю, отцу Мафусаилу. Тот слушал тяжело, давяще, встречными вопросами не помогал. И вдруг, не дав договорить про осуждение и блудный помысел, шумно, с охотничьей страстью принялся и перебил: «Так, а почему ты пахнешь мятой? ты что ли ел перед причастием?» «Не ел, – растерянно ответил я, – это у меня зубная паста». Настоятель рассердился (вообще он был гневлив не в меру; как выйдет на амвон, как гаркнет: «Кто не исповедался – да не приступит к чаше!», лицо становится апоплексически бордовым, и бабки приседают от восторга). «Это что ж такое, это ж как!» – он грозно свёл густые брови. И сверлящим шёпотом устроил выволочку: «Ты же ж ротом принимаешь таинство, какая паста?»

В общем, зубы до причастия не чистить и даже рот водой не полоскать, не соблазняться.

Это меня удивило, но если решил *соблюдать* – соблюдай. Ибо – как же мы тогда любили это пафосное слово «ибо»! – главное было в другом. Не в казарменных привычках настоятеля, не в чужих и непонятных прихожанах, не в суетливых бабульках – «Мань, ты на причастие благословишься? у кого?» – и не в милом равнодушии отца Георгия, а в напряжённом ожидании итога. Стоишь на долгой ранней службе. Сердце тает, слёзы душат. Священник закрывает царские врата, как закрывают свежевывитые окна, отец диакон ставит перед ними золотой

подсвечник, похожий на рыцарский меч; все отрешённо молчат, только мечется под куполом суровый голос горбуна, читающего нараспев молитвы ко святому причащению. И кажется, не доживёшь до той минуты, когда распахнутся врата и священник вознесёт над головами чашу:

Со страхом Божиим и верой приступите!

Смерть опять не состоялась! Вечность рядом! В полушаге от тебя. Сложи крестообразно руки и полузакрой глаза. Нырни в людской поток. И медленно, как в тонком сне, плыви навстречу... Тому, кто никогда не причащался, не понять. С чем это можно сравнить? Взмах качелей, уносящих к небу? Судорожный вздох, когда выныриваешь с глубины? Первое утро после тяжёлой болезни – температура спала, солнце светит, и от этого щенячье счастье? Всё не то и даже отдалённо не подходит.

5

А ведь это всё Сумалей М. М. Его работа. Хотя я так и не успел узнать, был ли Михаил Миронович «практикующим» – то есть ходил ли на службы, исповедовался и причащался. С ним было бесполезно говорить на эти темы.

Прибился я к нему почти случайно. Аспирантам-первогодкам полагались краткосрочные бессмысленные семинары. Выбор был столовский, небогатый: на первое – глухой как пень, и страшно глупый Константин Трофимович Минаев, невнятно излагавший ленинскую теорию отражения. На второе – молодой Андрей Касимов; он вёл неформальную логику, в которой я мало что смыслил. Зато на сладкое достался многолюдный семинар у Сумалея, «Философские аспекты урбанизма», общий для всех гуманитарных факультетов.

В аудитории припахивало плёнкой, от проектора тянулась дымная полоска, на экране вспыхивали слайды. Плёнка гэдээровская, «Орвохром», цвета размытые, поблёкшие. Михаил Миронович, сухой и тёмный, словно прокалённый на огне, пояснял картинки резким голосом. Вот, коллеги, петушился он, храм святителя Николы в Кузнецях. Здесь, коллеги, царские врата, а тут, извольте видеть, поздний, хорошо сохранившийся иконостас, а этот приподнятый пол – солея. Литургия начинается со слов «Благословенно царство», в сердцевине дьякон произносит «оглашенные, изыдите», и это значит то-то, то-то, то-то. Затем зачитывал обширные цитаты из философа-священника Флоренского про храмовое действо и закон обратной перспективы; а сейчас эстетику огня попробуем соединить с искусством литургического дыма.

После всех полковничьих ужимок диамата, пропылённых историков партии, дуболомных атеистов («у христианстве бог членится на три части... а что ж вы смеётесь...») и великой дисциплины под названием «тыр-пыр» (теория и практика партийного строительства) – занятия у Сумалея возбуждали, как впервые выкуренная сигарета или как «Советское шампанское» в десятом классе, выпитое исподтишка на пятерых. Подволакивая ногу, Михаил Миронович ходил вдоль рядов; голос его звучал то острее, то глуше, то накатывал справа, то слева, словно бы лектор – везде и нигде, как эта самая завеса фимиама, создающая эффекты перспективы.

Он мог уклониться от темы и заговорить о чём угодно – о европейской философии истории или о модном хронотопе Бахтина. А мог прочесть своим взвизгивающим голосом стихи кого-нибудь из наших современников. Причём всегда подпольное, неподцензурное, как минимум – по многу лет лежащее в издательстве. Особо нравился ему один стишок Глазкова, он читал его неоднократно и жмурился от удовольствия:

*В стихах я Пушкина пониже.
И, вероятно, потому
Я не люблю, а ненавижу
Простую русскую зиму.*

Однажды Сумалей прочёл (на память!) непечатную поэму молодого автора Чухонцева, особо выделяя философские фрагменты:

*Была компания пьяна.
И всё ж, друг дружеску ухайдакав,
Как чушки, рвали имена:
Бердяев, Розанов, Булгаков.*

А на другом занятии достал машинописный сборник Александра Межирова и, растягивая гласные, продекламировал:

*И я
не то чтобы
слишком болею,
Не то чтоб усталость
доканывает меня,
А всё юбилеи стоят,
юбилеи,
Юбилейные какие-то времена.*

После чего прищурился, причмокнул, стал похож на плотника, который ловко засадил одним ударом гвоздь: «Как стал писать Александр Петрович, как стал писать». И ушёл в петляющие рассуждения о том, что время резко изменилось. Не физическое время, а метафизическое! Дьявольская разница! Мы считываем время по-другому. Не так, как считывали пять или десять лет назад. Дни мелькают один за другим, а при этом ничего не происходит, хроно-топ стремительно вращается вокруг своей оси и не может вырваться из собственного круга. Заметьте, аккуратно кашлянув, продолжил Михаил Миронович; замечьте, как меняется природа памяти: то, что было с нами год назад, может помниться гораздо ярче и отчётливей вчерашнего, при этом мы всё время что-то вспоминаем («тавтология, прошу пардону!»), любимый зачин разговора – «а помнишь?».

И если бы только у нас, где стоят юбилеи! В Соединённых Северо-Американских Штатах даже термин завели такой, «флэшбэк», не знаю, как перевести на русский. Когда герой все время вспоминает: что с ним было год назад, два года, три, что было в детстве... Термин, кстати говоря, был позаимствован у психиатров, так что пользуйтесь им осторожно. Флэшбэком называют острое воспоминание, которое вспыхивает в нас, тыкскыть, как молния. И больной теряет волю с представлением...

Но как бы далеко ни уносились мысли Сумалея, он неизменно возвращался к храму как семиотической модели мира. И без конца наращивал детали. Это конха, а это апсида. Деисусный чин. Иконостас. Престол. Я так увлёкся новым знанием о храмовом пространстве, что очень скоро смог водить библиотечных девушек в московские церквушки. Стоя сзади, снисходительно шептал на ухо: это называют ектенья... когда кадят (видишь, дымок выпускают), надо голову слегка склонить... да что же ты, Псалтыри не читала?! Девушки охотно впечатлялись и становились гораздо податливей.

Однажды я пошёл с очередной знакомой на вечерню. Служили размеренно, важно; затворились царские врата, настоятель театрально поклонился трём старушкам, и воцарилась гулкая пустая тишина. Девушка поглядывала на меня со смесью изумления, недоумения и страха. Я резко усилил эффект: сгорбился, ссутулил плечи, сделал просветлённое лицо и встал перед иконой Всех Скорбящих, закупоренной в серебряном киоте. Изображая сокрушённую

молитву, с интересом разглядывал крестики, кольца и серьги на толстых цепочках, которыми, как бусами, была обвешана икона. Было в этом нечто дикое, туземное.

Вдруг на солею воробышком вспорхнул священник, старый, почти безбородый; пахло от него душистым мылом, сквозь которое невнятно проступал коньячный дух. Он опёрся подбородком на огромный серебряный крест и заговорил громовым голосом. Слушать его было некому – кроме старушек, меня и забытой подруги, *имя же ея ты, Боже, веши*. Но священник этого не замечал. Он говорил про то, про что обычно говорят на проповеди. Апостол Пётр доверился Христу, пошёл по морю. Вдруг испугался и отвёл глаза. Немедленно начал тонуть. Вот и мы, дорогие братья и сестры... Но так он это говорил, с такой последней силой, что по спине пробегали мурашки.

Закончив проповедь для нас двоих, священник замер, встал на цыпочки и троекратно осенил крестом, энергично, чуть ли не со свистом рассекая воздух.

Я пытался выбросить из головы коньячного священника, но почему-то ничего не получалось. Лодка, море, Христос – и апостол. Нужно быть там, где они. Почему? Я не знаю. Так надо, так правильно, точка.

Через месяц с небольшим (как сейчас помню, завершалась холодная осень семьдесят седьмого, всюду висели плакаты и флаги, в честь 60-летия Великого Октября; революция вступила в пенсионный возраст) я заявился к громогласному отцу Илье. Отстоял, как положено, службу, дождался окончания молебна, отпевания и завтрака священников. Отловил на выходе из храма и попросил крестить меня – без восприемников и записи в церковной книге, чтобы в универ не сообщили. Отец Илья стал смешно озиаться, не подслушал ли кто; убедившись, что нет соглядатаев, он согласился. И ещё через неделю я стоял в натопленной крестильне (со священника катился градом пот, даже мне в льняной рубашке было жарко) и повторял, дрожа от восхищения, как повторяют рубленые современные стихи:

*отрицаюся,
отрицаюся,
отрекохся.*

В церкви, где меня крестил отец Илья, было очень хорошо. Все друг друга знали, были дружелюбны. Но служил отец Илья непредсказуемо – то на ранней, то на поздней, то по будням, а то вообще не являлся на службу; пришлось искать себе приход поближе и попроще. Со слишком жизнерадостным отцом Георгием и слишком мрачным настоятелем отцом Мафусаилом. Впрочем, к отцу Илье я тоже заезжал. Но гораздо реже, чем хотелось бы.

6

Тот аспирантский семинар у Сумалея был рассчитан на один семестр и завершился накануне католического Рождества. Впрочем, в семьдесят седьмом про католическое Рождество никто особенно не вспоминал, во всяком случае, в моём семействе; Новый год был единственной точкой отсчёта. Уже открылись новогодние базары, мужчины в заячьих шапках-ушанках тащили запелёнатые ели, женщины с полными сумками неуклюже скользили по накатанному льду, на снегу валялись мандариновые корки, из авосек торчали бутылки с «Советским шампанским», посверкивал лёгкий оскольчатый снег.

Михаил Миронович собрал самодельные слайды в коробку, завернул в бумажку жёлтый заграничный мел, похожий на тюбик с помадой, торжественно и сухо ватно всех поздравил – с окончанием курса и *ещё одним важным событием*. (Всем полагалось догадаться, что он имеет в виду.) Помолчал, подумал и добавил: «Этсамое, зачёт по расписанию не предусмотрен, но будет *доверительное собеседование*. Обязать я не имею права, но если не придёте – будет, этса-

мое, нечестно. Жду вас после новогодних праздников... на какое же число назначить... пусть будет, для симметрии, седьмого января. Так сказать, от Рождества до Рождества. Красиво». Подошёл к холодным окнам и раздёрнул затемняющие шторы. При этом слишком резко поднял руки, повернулся – я увидел в ворота рубахи золотой нательный крест. Старинный, на тонком плетёном шнуручке. И это было как масонский знак, как тайное послание: тебе доверено, тебя *включили*!

Седьмого января он появился ровно в десять. Всех запустил в поточную аудиторию, поздравил с новым, одна, тысксыть, тысяча девятьсот семьдесят восьмым годом *от Рождества Христова*, раздал машинописные вопросы, перед собой поставил термос, развернул газетку с бутербродами. В аудитории пахло колбасой, отвратительным зелёным сыром и лимоном. Сумалей подливал себе чаю, недовольно жевал бутерброд – и капризно мучал аспирантов. Дайте полифункциональное определение средневекового города. Что значит «вы не говорили»? Был список обязательной литературы. Был? Ну вот. Какие работы Аделаиды Сванидзе о городе и бюргерстве вы знаете? То есть не читали ничего. Понятно... Да, это не по курсу философии. И что же?

Над крышкой термоса клубился пар. От гигантского окна тянуло холодом, стекло изнутри обрастало мохнатым узором; город был подсвечен розовым, морозным светом. Сумалей демонстративно не спешил; моя очередь подошла к полудню.

– Ноговицын, – Сумалей посмотрел на меня затяжным недоверчивым взглядом. – Очень хорошо. Фамилия какая интересная. А имя-отчество? Алексей Арнольдович. Ещё интересней. А что вы, Ноговицын Алексей, э-э-э, Арнольдович, смогли вынести из моего курса? Поделитесь.

Отвечать Сумалею – всё равно что бить мячом в глухую стену: чем сильнее удар, тем быстрее возвращается мячик. В чём заключался смысл знаменитой надписи над конхой центральной апсиды в киевской Софии? Понятно. Что по этому поводу сказано в статье Аверинцева? Хорошо. Где статья Аверинцева опубликована? Неплохо. Кто ему возражал? Почему? Ладно, это вы знаете. Попробую спросить иначе...

Погоняв меня по всем вопросам и вымотав до основания, как зайца на псовой охоте, Михаил Миронович кивнул: годится. Опять воткнул в меня свой долгий непонятный взгляд. И вдруг добавил полущёпотом, чтобы не привлечь стороннего внимания: мне кажется, мы сможем с вами пообщаться. Дождитесь окончания зачёта.

Я наскоро сбегал в буфет, выхлебал тарелку «ленинградского рассольника», из огромного стального жбана налил себе бледного чаю, слакал в три глотка и вернулся на место. В коридоре присесть было негде – на время новогодних праздников уборщицы зачем-то поправили стулья в кладовку; я стоял у грязного окна и тихо волновался.

За окном постепенно темнело, снег завихрялся, плотную завесу раздвигали фонари; редкие прохожие, нагнув заснеженные головы, упрямо пробивались сквозь метель, как восточный караван сквозь песчаную бурю. К шести аудитория освободилась лишь наполовину; метель утихла, образовались лёгкие сугробы; в десять вечера из аудитории вышел бледный Сумалей, с чёрным портфелем под мышкой, и торопливо направился к лифту.

– Михаил Миронович!

– А? что? – удивился он.

– Вы сказали, чтобы я вас подождал.

– Да? Кажется, действительно сказал. Но я уже ничего не соображаю, день выдался долгий, сами видите. Знаете что? Завтра кафедра, подтягивайтесь к двум, и поболтаем.

Мне показалось, что М. М. едва заметно усмехнулся. Двери лифта сомкнулись, как смыкаются на службе царские врата; лифт почему-то отправился вверх, огонёчки на панели замигали – девятый, десятый, одиннадцатый: прежде чем спуститься, Михаил Миронович вознёсся.

Назавтра в душный кафедральный кабинет входили сгорбленные профессора со свекольными гладкими щёчками, в полосатых старомодных тройках. Они усаживались в первый ряд и с важным видом говорили о лекарствах. Я ждал Сумалея, но тщетно. Дверь закрыли, завкафедрой начал зачитывать речь, товарищи, как пишет товарищ Толстых в январском номере журнала «Коммунист», социалистический образ жизни предполагает культурный рост личности, а социалистический реализм не исключает условности, и я оказался в ловушке: глупо остаться, уйти невозможно.

Заседание закончилось к шести. Я спросил весёлую упитанную лаборантку, похожую на молодую попадьё с картины передвижника: что с Михаил Миронычем? Почему его нет? Та ответила невозмутимо:

– Михаил Миронович свалился с гриппом.

– А когда он будет?

– Без понятия. А вы поезжайте к нему, все так делают. Вот адресок, сможет – примет, нет – не повезло.

– Я лучше позвоню.

– А вот это вот зря, – развеселилась лаборантка. – Михал Миронычу не принято звонить.

Отыскав сумалеевский дом, я бессмысленно и долго жал на кнопку. На всякий случай дёрнул ручку; сезам отворился. На кухне приятно гремели посудой и негромко мурлыкало радио.

– Тук-тук, – сказал я осторожно. – Я могу войти?

Не получив ответа, громко хлопнул дверью. На меня внимания не обратили.

– Извиняюсь! – крикнул я.

И лишь тогда услышал возмущённый голос Сумалея:

– «Извиняюсь» говорят извозчики и дворники! Правильно будет – «извините»! Повесьте пальто, Ноговицын, все тапочки у нас на нижней полке, выбирайте.

Михаил Миронович сидел на кухне, довольный жизнью и почти весёлый; никаких следов обещанной болезни. Огромное старинное окно выходило на церковь, нечётко высвеченную фонарями; самоварным боком выпирал центральный купол, остальные купола, поменьше, окружали его, как голубые чашки. Крохотная, похожая на канарейку жена суежилась у плиты. В центре круглого стола стояла красная эмалированная кастрюля, в старинном соуснике со сколотым краем густела сметана. Пахло плотно промешанным фаршем и варёной капустой.

– Простите, – промямлил я. – На кафедре сказали, вы больны и надо ехать...

– Всё отлично, – возразил Михаил Миронович, – у меня сегодня приступ хитрости. Заодно и вас проверил. Есть, тыскыть, звание, а есть призванные. Милости прошу, помойте руки, оба заведения направо, встык, а потом присаживайтесь с нами вечерять, Анна Ивановна соорудила славные голубцы.

Анна Ивановна пошла за тарелкой; кажется, она привыкла к необъявленным визитам.

Я смущённо подсел; мне положили на тарелку толстый голубец, выдали вилку и нож и продолжили семейную беседу. Не подстраиваясь под меня. Беседа заключалась в том, что Сумалей без остановки говорил, а жена его безмолвно слушала. Он рассуждал о каких-то старинных знакомых, которые решили эмигрировать в Израиль. Я так и не понял, осуждает их М. М. или поддерживает.

Голубец был сочным и мягким, сметана свежая, наверное, с базара; ел я с удовольствием и от этого стеснялся ещё сильнее.

– ...Такие, в общем, дела, – подытожил Михаил Миронович; жена кивнула. – Насытились?

– Спасибо большое, очень вкусно.

– Да, Анна Ивановна большая затейница по этой части. Ну что же, если все сыты-довольны, пойдём в кабинет, на два слова.

В кабинете я был подвергнут допросу. Кто ваши родители. Почему расстались. Что привело на философский. Кого читали. Что думаете о спорах Сахарова с Солженицыным. Как случилось, что не знаете Кьеркегора. Я отвечал как солдат на плацу – чётко, не пытаясь уклониться. Закончив испытательный допрос, Сумалей умолк. Через пять минут очнулся, словно вынырнул из летаргического сна.

– Что я хочу сказать, Лексей Арнольдич. Думается мне, как нынче говорят советские начальники, что мы и вправду с вами можем посотрудничать. И вот вам первое задание... рискованное, прямо скажем. Вы статейку в аспирантский сборник сдали?

– Сдаю на днях. Но я уже её перепечатал! – стал я оправдываться.

– Отлично, отлично. Это очень хорошо, что задержались. Потому что мне нужна одна цитата. До зарезу. Вот так, – он чиркнул ладонью по горлу. – Из любого, этакое, марксиста. Но не сегодняшнего и даже не вчерашнего. Я предпочёл бы позднего Плеханова или, там, какого-нибудь Германа Лопатина. Примерно вот такая, понимаете?

Он протянул листок, на котором стремительным бисером было написано: «Марксисты не боятся изучать религию как конгломерат конкретных знаний; эстетика свободна от дурмана». Польщённый сумалеевским доверием, я решил слегка поумничать и произнёс:

– Михаил Миронович, по стилю это не Плеханов. Может, поискать у Дьёрдя Лукача?

– Нет, у Лукача не надо. Лукач слишком долго жил. Он помер лет десять назад, если не позже. – Сумалей заиграл желваками.

– Простите, Михаил Миронович, – я не угадал причину раздражения. – А какая разница, когда он помер? Главное же найти?

– Да что ж тут сложного? Если вы припишете цитату Лукачу, вас архивисты зажопят. – Михаил Миронович по-ленински прищурился, на лице образовалась странная улыбка: то ли ироничная, то ли презрительная, то ли просто злая.

– Припишете? – Я всё ещё тупил.

– Ну конечно, припишете. Что тут непонятного? Вот вам слова. Подредактируйте и приведите их в статье. Закавычьте. Повесьте ссылку на какой-нибудь архив: марксизма-ленинизма, там, или ЦГАЛИ. Главное, чтоб фонд такой существовал. Опись, номер папки, лист.

– А зачем?

– А затем, Лексей Арнольдич, – осердился Михаил Миронович, – что мне не пропускают монографию. Нужно прикрыться, хоть Карлом, хоть Фридрихом, хоть банным листом. А ничегошеньки нет. Вообще ничего, ни одной завалящей цитатки. А выйдет ваш ротапринтный сборник, радость складских помещений, и я смогу на вас сослаться: «Как сказано в статье такого-то, недавно обнаруженной в архиве», – и всё будет тип-топ.

– Но ведь это подлог?..

– Как хотите.

Сумалей изменился в лице. Словно запер его изнутри. Складки разгладились, губы слегка растянулись, проявилась отстранённая улыбка. Он встал и в полупоклоне указал на дверь.

– Простите, уважаемый товарищ Ноговицын, был непозволительно доверчив. Надеюсь, разговор останется между нами, но как вам будет угодно.

– Михаил Миронович, постойте, вы что, я же просто, – забормотал я. – Сделаю, конечно, как вы скажете.

Так я заслужил доверие Учителя. И сложную, изменчивую дружбу.

Жил Сумалей на Володарского, в двух шагах от станции метро «Таганская», где мы условились о встрече с Мусей. Улицу свою он величал Гончарной, по старинке. Гулять он не любил и раньше, мол, в квартире воздух тот же самый, только с подогревом; а после кончины люби-

мой жены (в августе семьдесят девятого; как сейчас помню тот ужас) Михаил Миронович ушёл в полузатвор. Добровольно перевёлся в консультанты, отказался от единственного семинара, в МГУ появлялся нечасто – на кафедре, в парткоме, на защитах диссертаций и на редких заседаниях учёного совета. В магазин за едой посылал аспирантов; восторженные аспирантки в очередь готовили.

Уточнив, где на Казанском камера хранения, я спустился в цокольный этаж. Строгие вокзальные уборщицы швабрами гоняли воду по коричневому кафелю. Вёдра были расставлены в шахматном порядке, чтобы тряпки было легче отжимать. В полуподвальном помещении с приземистыми потолками воздух разогрелся до предела и всосал водяные пары; было жарко и влажно. Везде висели одинаковые олимпийские плакаты на дорогой мелованной бумаге: жизнерадостный медведь с чёрно-жёлтым поясом атлета и огромной пряжкой из пяти колец. Вопреки напрасным опасениям, возле камеры не гужевалась тёмная толпа; здесь не было ни худощавых азиатов, ни обильных телом молдаван, ни щеголеватых грузин в широких клёшах, ни зачумлённых рязанских дедков. Старый кладовщик подхватил рюкзак и легко закинул на пустую полку.

– Расчётный час – ноль-ноль часов, молодой человек. С семнадцати тридцати до восемнадцати перерыв, молодой человек. Не опаздывайте, молодой человек, чтобы не пришлось доплачивать, молодой человек.

Избавившись от багажа, я налегке отправился пешком. Петляющим маршрутом. Через пыльные Басманные и вялую Покровку, которую никто и никогда не называл официально, ул. Чернышевского; оттуда в длиннохвостый Лялин переулок, а потом – до Николаямской, в те времена ещё, конечно же, Ульяновской, и вверх. Вдоль тротуаров подсыхали тополя, на скамейках восседали злобные сторожевые бабки. Спокойная жара перерастала в пекло; на всех углах стояли белые нарядные милиционеры, похожие на сахарные головы; поражала феерическая пустота...

Как же я любил тогда Москву... Страдающий архитектурным сколиозом, простроченный трамвайными путями, этот город корчился, гремел, чадил, но стоило свернуть в очередной кривоколенный переулок, и ты погружался в последний покой, где безраздельно царили старухи. В длинных авоськах телепались продукты: белый батон, нарезной, за тринадцать копеек, четвертинка «Орловского» чёрного, баночка килек в кислом томате, треугольный пакет молока. Доминошники в майках сидели за дворовыми столами и с размаху били по неструганым сосновым доскам: р-р-рыба! Костяшки домино взлетали в воздух и, приземляясь, жадно клацали. Мамочки, спрятавшись в чухлом теньке, злобно качали коляски – да уснёшь ты наконец? Из колясок раздавались сладкие сирены: уа-а-а-а-а, уа-а-а-а!

А надоела деревенская идиллия – вынырнул из подворотни, и вот уже троллейбусы втыкаются рогулками в растянутые провода, трамваи высекают электрические искры. Заранее ищешь навес, прячешься под ним и смотришь, как низкое небо густеет, готовясь изойти тяжёлым ливнем. Грозная, изменчивая красота.

От Яузы дорога круто забирала вверх. Я знал, что старое название холма, Болвановка, было связано с татарским идолом, но Учитель резко возражал: что за ерундистика, какой там идол, слово происходит от болванок, на которых шляпники сучили колпаки. Вы поняли, Лексей Арнольдич? Кол-па-ки. Поневоле приходилось соглашаться. *И чтобы никакого на Таганке! Только в! Запомните раз навсегда! В Таганке! В Таганке! В Таганке!* Ладно, Михаил Миронович, договорились, вы таганский с детства, вам виднее.

Я тормознул у киоска с мороженым.

– Мне сливочного, за девятнадцать.

У стаканчика рифлёные бока. Жирный вкус. Небесное блаженство. А вокруг оплывала Москва. Над раскалённой мостовой змеился воздух, сквозь него сомнамбулами двигались прохожие, весело библикали машины, сворачивая к Котельнической набережной, от столбов

тянулись дистрофические тени, солнце растекалось по фасаду низкорослого здания напротив. Сбоку от входа висела большая афиша, на которой пылали плакатные буквы:

ГАМЛЕТ!

Я бывал в театре на Таганке, но попасть на «Гамлета» не смог; даже Мусины знакомства не сработали. Спекули просили четвертной, что ни в какие ворота не лезло. Но об этом спектакле ходили легенды; о том, как Высоцкий выходит на сцену матросской походкой, бьёт по струнам и вырыкивает строки Пастернака.

Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь – к дверному – косяку. Я. Ловлю. В далёком отголоске. Что. Случится. На. Моём. Веку.

У меня промелькнула счастливая мысль. Деньги я привёз. Может быть, не жадничать сегодня? Ну, четвертной, на двоих – пятьдесят. Наплевав на жёванные брюки и куртец, заявиться к самому началу, вычислить в толпе барыгу – расхлябанного, как на шарнирах, с уверенным и наглым взглядом. Войти по третьему звонку, пробуриться на свои места, смущая напомаженных интеллигенток и расплывшихся райкомовских мужчин; выдохнуть и затаиться в ожидании начала. Мусе эта затея понравится; она к театру прикипела, полюбила.

Когда я первый раз повёл её во МХАТ, она почти обидно усмехнулась: нашёл кого билетами заманивать! Нам, торгпредовским, как мясникам, несут билетки и книжки, а мы носы воротим, парикмахершам билеты раздаём... Но сидела в зале тихо, отрешённо. И вскоре сама предложила: а не хочешь пойти в «Современник»? Там Гафт играет в главной роли, а пьесу некий Роштин написал. Потом позвала на Таганку. Призналась честно – ничего не поняла, но впечатлилась. После чего напросилась на выставку – и честно стояла на Малой Грузинской у картин недоступных художников. Даже выписала толстые литературные журналы, хоть потом ворчала, что читать в них совершенно нечего, разучились современные писать, не то что были Толстой и Тургенев. Популярный роман об «Альтисте Данилове» она осудила – «пижонство». Зато «Под сенью грецкого ореха» Искандера и в «Поисках жанра» Аксёнова прочла взахлёб. И долго пыталась меня: что я думаю о странном трифоновском «Старике», почему там время словно скачет в каждой фразе, так что не всегда понятно, где ты – в двадцатых, тридцатых годах или сейчас?

Мороженое было съедено, оставалось выпить газировки. Упитанная продавщица выжала рычаг сифона; стакан был горячий, вода ледяная, мелкие пузырьки шибали в нос...

Я перешёл дорогу. Нужно было что-нибудь купить М. М. – нельзя же являться с пустыми руками.

В продуктовом было хуже, чем в гладильной, тётки прели в накрахмаленных халатах и высоких белых колпаках. На сияющих стеклянных полках вместо бледно-жёлтых ёжиков из комбижира, утыканных коричневыми спичками, красовалась тонкая нарезка сервелата, непривычным образом запаянная в плёнку. Да ещё какого сервелата! Финского, пурпурно-розового, с рябью! И прямоугольные коробочки с приклеенной прозрачной трубкой сбоку; я пригляделся внимательно – сок! Ничего себе, куда шагнул технический прогресс. И рядом железные жёлтые банки – это что ж, теперь такое пиво, без бутылок? И яйца были в изобилии, и шестипроцентное густое молоко, и гранитное мороженое мясо, и дряблая, но изобильная треска – которая давно исчезла из продажи, уступив вонючей мойве, которую отказывались есть коты.

– Сегодня завезли! Олимпиада! – гордо объяснила продавщица и поправила колпак, напоминающий армейскую папаху.

Учитель вышел мне навстречу, в коридор (чего не делал никогда), но особой радости не выказал. Губы быстро растянулись, сжались: здравствуйте-здравствуйте.

– Алексей Арнольдович? Прошу, прошу, что называется, давненько не видались, совсем забыли старика. А? что? приехали из стройотряда? По комсомольской, так сказать, путёвке? Даже не зашли, не попрощались. И чего вас туда понесло? Вам же защищаться в октябре. Ах, деньги. Да-да. В наш век железный без денег и свободы нет. Понимаю, наука не кормит.

Иронизирует, ревниво осуждает, но при этом заботливо смотрит в глаза: всё хорошо у вас? в порядке? А вслух произносит почти равнодушно:

– Я, этсамое, сейчас вьетнамку-докторантку отпущу, и поболтаем. Это что такое? колбаса? Лишнее. Колбаса привязывает к должнему. Впрочем, принимаю – и бла-го-да-рю. Какая неожиданная колбаса, в прозрачной блямбе. Кофе будем? Ну конечно! У меня – да и без кофе. Невозможно. Ерундистика какая-то получается.

Готовили ему всегда другие, но кофе он варил единолично. Тощий, лысый, как Махатма Ганди, таинственно склонялся над плитой, до предела откручивал вентиль, чтобы пламя над конфоркой полыхнуло и образовалось жёлто-синее сипящее кольцо. Ставил старую чугунную сковороду, неторопливо высыпал зелёные зерна и медленно помешивал; кофейные окатыши язычески темнели, покрывались матовым блеском, распускались вязкие запахи. Он жужжал болгарской кофемолкой, перетирая зёрна в пудру: дунешь – и взметнётся облачко. В замызганной латунной джезве поднималась тонкая пузырчатая пенка. Гранёные стаканчики с ледяной водой запотевали. Учитель разливал свежесваренный кофе по мелким фарфоровым чашкам, осторожно пробовал губами: горячо! И тут же маленький глоток воды: прекрасно! Теперь, пожалуй, можно закурить: он выбивал жёлтым ногтем папиросу, мял её, она приятно пахла сеном. Дул в гильзу, заминал зубами кончик, злобно сдавливал середину, запаливал шведской спичкой и ноздрями выпускал синий дым.

«Асмодей!» – восхищались аспирантки, влюблённые в него, как маленькие девочки, хотя ему было сильно за семьдесят, он от рождения хромотал, из ворота рубашки выпирали стариковские ключицы, тяжело перемещался острый кадык, кожа на шее обвисла и собралась в неприятные складки, а зубы были мелкие и жёлтые, с густым коричневым налётом. Но зато над светлыми, почти прозрачными глазами разлетались кустистые брови, скулы были очерчены резко, губы сдавлены в холодную улыбку. И куда до него молодым, белозубым; с ними было скучно, а с Сумалеем – интересно! Уверенно отыгрывая внешность, демонстрируя повадки римского патриция, Михаил Миронович радушно принимал – и был непроницаемо далёк; «культура начинается с дистанции», – повторял он с незаслуженным укором, словно кто-то смел на эту дистанцию покуситься.

Телефоны он не уважал; если по ошибке или странной прихоти снимал телефонную трубку, то говорил отрывисто и резко, как бывший заика: «Ало. Да. Не знаю. Лучше будет, если вы приедете. Когда? Этсамое, когда сочтёте нужным». И нажимал рычажки. Чего звонить? Знаете же правила, они простые. Если двери приткнуты на мятую газетку, значит, хозяин доступен. Нет – звиняйте, батьку, вам не повезло. На естественный вопрос, который задавали свежие ученики: «А если вор?» – Учитель однотипно усмехался, кольцами пускал дым и быстрой струйкой протыкал их насквозь. «Я же всё равно открою, если позвонят, какая мне разница».

На кухне сидела седая вьетнамка с младенческим гладким лицом; коричневую щёку рассекал белёсый шрам. Солнце било вьетнамке в глаза, она всё время мелко смаргивала, как будто страдала от тика. Однако не решалась поплотней задёрнуть занавеску или отодвинуть стул и с выражением стоической покорности ждала, когда возобновится разговор. Учитель, Впрочем, никуда не торопился; он медленно, по линии запайки, разрезал ножницами вакуум-

ную упаковку, разложил сервелат на тарелке, накромсал бородинского хлеба, крошки широким движением смахнул на пол, стал благородно жевать бутерброд.

– Очень вкусно, очень. Редкостная колбаса! Давненько такой не едали! Фрау-мадам, угощайтесь.

Вьетнамка посмотрела на предложенную колбасу и почему-то не решилась взять. Робко отщипнула хлеб и осторожно его проглотила. Учитель, впрочем, не особенно настаивал. Сопя, дожевал бутерброд, глазами поискал салфетку, не обнаружив её на столе, провёл по губам указательным пальцем, как если бы подкручивал усы.

– Итак, на чем же мы остановились?

– Я давыно инетересуюся браблемой бсигологизма...

– Похвальный интерес. Но при чём тут философский факультет?

– Я гачу изучать бсигологизма высытория. Это философская браблема.

Учитель поднял бровь. Размеренно, с достоинством ответил:

– Психологизм в истории? Позвольте! Это, матушка моя, писатели насочиняли. А? что? В истории бывают интересы, идеалы и случайность. Всё. Больше ничего в истории нет, не было и, этсамое, не будет. Да и мы-то с вами тут не при делах. Мы же не филолухи, помилуй господи, и не историки, мы истматчики, пардон, и диаматчики, элита!

Подумал и добавил:

– Что ж вы не едите? Ешьте, ешьте!

Докторантка стушевалась и мучительно стала прощаться. Я выясню вы деканате сыпрашу парафессора петырова. Учитель её не удерживал. Спросите-спросите. Они вам ответят. Строго проводил, сердито стукнул дверью на прощанье, а вернувшись, произнёс размеренно и громко, словно в школе:

– А ведь она, Лексей Арнольдович, из амазонок. Видели шрам на щеке? Героиня была, ё-моё. А теперь бсигологизма подавай. Едрёна кочерыжка.

Побарабанил пальцами по столу, осуждающе покачал головой.

– Знает ведь, зараза, что деваться некуда, кому-нибудь выкрутят руки и заставят за неё работать. Вызовут в партком, и – разнарядкой! Скажем, вот меня. Я же отказаться не смогу... Ну, пока они не вызвали – вихляем. Ох, грехи наши тяжкие, что ж ты с этим будешь делать. Ладно, пошли в кабинет. Там и курить, и разговаривать сподручней. Кофе только прихватим, вот так-то.

В кабинете, квадратном, просторном, обставленном тяжёлой мебелью эпохи Александра III, царствовала вакуумная тишина. Середину занимали три массивных стола, поставленные буквой П: в центре – длинный, по бокам – квадратные, как тумбы. Один из боковых столов был полностью завален свежескупленными книгами. На другом начальственной стопой лежали белоснежные листы (и где он только достаёт!?) и пачка роскошной бумаги верже, сливочного цвета, с водяными знаками. На белой бумаге Учитель писал и печатал, а верже предназначалась исключительно для писем. Это было очень приятно – получать от Сумалея письма. Из стандартного советского конверта выскальзывал «листок благоуханный», исписанный мелко, стремительно, чётко, как в начале XX века. Ты чувствовал себя героем давнего романа. Как там у Булата Шалвовича? «И поручиком в отставке сам себя воображал».

А ещё здесь имелись перьевые ручки с инкрустированными колпачками, малахитовое пресс-папье и тяжёлая хрустальная чернильница с крышкой в виде пушкинской курчавой головы. (Учитель прокуренным пальцем толкал Пушкина в висок, голова откидывалась набок, и весёлый классик превращался в грустного Пьеро. Сумалея это забавляло, аспирантки смущённо хихикали.) Третий, центральный, стол занимала механическая пишущая машинка с маленькими круглыми клавишами, которые росли на длинных ножках, как поздние опята. Рядом с машинкой лежала коробка лиловой копирки и стоял пузырёк с дефицитной замазкой, «дабы исправлять допущенные опечатки». В тогдашних издательствах были суровые нормы:

на страницу – пять поправок от руки, и ни единой больше. (Как далеко шагнул с тех пор технический прогресс!)

Напротив главного стола висел огромный образ нового письма, с иконы недобро смотрел Вседержитель. Перед его обличающим ликом боязливо мерцала лампадка. Сбоку от лампы, как бы ненароком попадая в этот зыбкий отсвет, стоял фотографический портрет, пожелтевший, в самодельной деревянной рамке. Старый человек в фуражке и мундире с генеральскими погонами. Светлые, почти прозрачные глаза, густые нависающие брови, лицо неласковое, даже злобное, но в каждой складке и в каждой морщине – отпечаток беспощадного ума. Таков был батюшка Учителя, Мирон Михайлович; он руководил серьёзным институтом, Учитель никогда не уточнял – каким именно, но можно было догадаться, что секретным.

Все стены в кабинете занимали стеллажи, тоже старые, глубокие, из чёрного проморённого дерева: Учитель называл свою библиотеку шедевальной, с апломбом нажимая на раскатистое «р». Всемирная литература, расставленная по эпохам, странам и годам рождения писателей, начиная с крохотной синенькой книжечки шумерских мифов и кончая толстым томом Евтушенко. Всеобщая история, подчинённая другому принципу: от многотомных сочинений Гиббона в дорогих сафьянных переплётах до картонного зачитанного Тойнби в тяжеловесном оксфордском издании. Ну, и, конечно, философия. Матушка-кормилица, как выражался Сумалей. А на приземлённых нижних полках, всяк сверчок знай свой шесток, толпились новомодные романы, начиная с итальянского издания «Il nome della rosa» филолога-медиевиста Эко («и как ему только не стыдно, казалось, серьёзный учёный») и кончая самиздатскими романами Войновича, Аксёнова, покойного Домбровского. Всё, что удалось купить и обменять, получить от западных друзей и выклянчить у верных аспиранток. Здесь не было по-настоящему опасной запрещёнки; склонный к эмфазе, Учитель всё-таки последнюю черту не заступал. В самой сердцевине философского раздела, как мишень на стрельбище, висело объявление: «Не шарь по полкам жадным взглядом – здесь книги не даются на дом!»

Обычно Михаил Миронович усаживал гостей в продавленные кресла, а сам располагался за столом, то и дело взглядывая на икону. Мог внезапно прервать разговор: «А? что? Ко мне тут мысль зашла, сейчас её за хвост поймаю, погодите». Быстро шорхая пером, исписывал страницу за страницей; пепел с папиросы опадал, он прикуривал от шведской спички, снова шорхал; чернила были фиолетовые, росчерк тонкий, буквы сплетались в паутину. Иногда, как бы в прострации, Сумалей вытаскивал из книги жёлтую потёртую закладку, разрывал её на тонкие полоски и начинал задумчиво жевать. Дописав, самодовольно крякал и с глубоким сожалением произносил: «Так. На чём мы там остановились?»

Но сегодня он работать не планировал и про науку говорить не собирался. Ковыляя, направился в спальню, где в огромном шкафу затаились костюмы, рубашки («штанов становится всё больше, а смысла всё меньше»), а в нижнем отделении постельное бельё; притащил подушку с крупными затёками, плотно накрыл телефон, сдвинул-раздвинул бескровные губы, барственно прилёг на оттоманку.

– Такие пирожки с котятами, Лексей Арнольдич. Они, понимаешь, с Америкой бьются, а мы тут в Москве отвечаем. Не Московский государственный, имени Михайлы Ломоносова, университет, а третий, прости господи, Интернационал. Хотел бы вставить матерное слово, но не буду. А у нас-то с вами что творится? Что интересного в стране и мире, тытксыть?

Вопрос был простодушно-хитрый, с подкавыкой: все знали, что М. М. не выносил интеллигентского нытья, всех этих бесконечных плачей Ярославны, ах, как ужасна советская власть, совсем не стало жизни русскому учёному, но и равнодушия к политике не уважал. Как-то я приехал на Гончарную, прямиком из церкви, после службы. И обрушился на Сумалея: я такое пережил, такое... Учитель посмотрел холодным взглядом, словно в перевёрнутый бинокль: «Пережили. Хорошо. Но этладно. А вот скажите лучше, многоуважаемый, что вы думаете о Сомали?» О Сомали я ровным счётом ничего не знал, тем более не думал, поэтому с трудом

отбормотался – и пошёл домой, читать газеты, слушать радио, набираться актуальных знаний и обдумывать произошедшее. После чего готовился к визитам на Гончарную, как студент к переводным экзаменам.

В день возвращения из стройотряда, по пути от вокзала, я в лицах разыгрывал встречу. Когда он спросит про события энд происшествия, чем я смогу отдулиться? Устарелой новостью про Ту-154, на днях разбившийся в Алма-Ате? Столкнусь с равнодушным сочувствием. Сказать про смену несменяемого президента Ботсваны? Заслужу холодную ухмылку. И тогда я решил, что подставляюсь, как бы затею игру в поддавки, а потом перейду в наступление. Дескать, сами видите, бойкот Олимпиады. Михаил Миронович взорлит: и вы туда же! По лбу пойдут морщины, как трещины по пересохшей краске. И тут я как бы вскользь проброшу: так в истории случается, вспомним про Берлин тридцать шестого. М. М. затанется, прищурит крокодилий глаз, но промолчит. Я мягко разверну сопоставление. Все Олимпиады говорят про мир, но войны следуют за ними по пятам. Быть может, это не случайно? Тут я приплету войну в Афганистане, которая недавно началась и непонятно, скоро ли закончится. И особо изощрённым образом (я не придумал каким, но рассчитывал на ловкую импровизацию) свяжу с недавним отречением священника Димитрия Дудко, показанным по телевизору. Борьба с инакомыслием ужесточилась после ввода войск в Афганистан. Бла-бла-бла и всякое такое.

Не скажу, чтобы судьба Дудко меня особо волновала (не больше, чем московская Олимпиада, и гораздо меньше, чем афганская война), но обсудить её с Учителем хотелось. Когда отца Димитрия арестовали, на излёте семьдесят девятого или в январе восьмидесятого, нас что-то отвлекло от этого сюжета; может, слухи о резне в Кабуле и убийстве Амина, может, спор из-за фильма Данелии «Осенний марафон», который я ругал за конъюнктурность, а Михаил Миронович хвалил за глубину. Ну, а потом пошла писать губерния, Сахаров был сослан в Горький, все шептались о писателе Войновиче, мол, ему предложено уехать; на фоне этого трагедия отца Дудко померкла. Книги его я листал: вялая машинопись, размазанные ксерокопии, слова искрились, как синтетическое одеяло, – в общем, это было не моё.

Но недели три назад я съездил в Сасыколи, переделал штабные дела и зашёл на открытую кухню. Вокруг уже было темно, над самодельным столом болталась стоваттная лампа, в волосах зудели комары. Я отхлёбывал зелёный чай из синей пиалы, отщипывал подсохшую лепёшку и мельком взглядывал на телевизор. Шла вечерняя программа «Время»; по экрану пробегала рябь, звук то врубался на полную мощность, то пропадал. Внезапно на экране появился человек – немый, патлатый, с дурацкой бородкой, в костюме с чужого плеча и неловко завязанном галстуке. Я с трудом узнал священника Дудко. Он зачитывал мёртворожденный текст, тоже явно с чужого плеча. «Я арестован не за веру в Бога, а за преступления... Я отказываюсь от того, что я делал, расцениваю свою так называемую борьбу с безбожием как борьбу с советской властью».

Это было жалкое, бессмысленное зрелище. Стоило лезть на рожон, отступить от максимы «нести власти не от Бога», чтобы кончить ничем. И позором. Что думают об этом *там*, я знал заранее («начальство выполняет волю Божью, даже если не догадывается об этом»), но что об этом скажет Сумалей?

...Михаил Миронович задумчиво дослушал про Берлин, закинул голову и сильно затанулся. Выпустил дым, проткнул колечки быстрой струйкой и неожиданно спросил:

– А признайтесь, уважаемый Алексей Арнольдович, вы же не смотрели старую киношку под названием «Олимпия»?

– Нет, Михаил Миронович, не видел.

– Но хотя бы читали о ней? – М. М. испытал раздражённую радость.

– И не читал. – Поняв, что меня подловили, я сник.

– Вы?! Не знаете? Про Лени Рифеншталь?! А рассуждаете о той Олимпиаде? Которую она прославила в веках? Наотрез отказываюсь понимать.

Настроение совсем упало.

– В общем, этсамое, увидите. Только помните: кино фашистское, закроют, этсамое, не поздоровится. Предупреждаю с большевицкой прямоотой.

Как я могу увидеть *этсамое кино*, Сумалей не уточнил; это было вполне в его духе: пойдёшь туда, не знаешь куда. Но на всякий случай я кивнул: увижу.

9

Вдруг тонкий дым, зависший в неподвижном воздухе, покрылся неопрятной рябью. Дверь в кабинет отворилась, и появились двое. Один высокий, тощий, длинноволосый, с преувеличенно роскошной бородой; он был в чёрной стилизованной косоворотке и мурмолке. Другой – обритый налысо и крепко сбитый, в пёстрой кацавейке. Я подумал с неприязнью: «Щелкопёры».

– Михаил Мироныч, здравствуйте! – свойски обратился к Сумалею бородатый.

– У вас не заперто, – добавил лысый.

– Приветствую, коллеги! – не улыбочивые губы растянулись, быстро сжались. – Приветствую. Знакомьтесь. Ноговицын, аспирант. Который бородатый, этсамое, Никита. Бритого зовут Максуд. А? что? коллеги, сварим кофейку?

Бодро вскочил с оттоманки, подмигнул и, шаркая, отправился на кухню.

Воцарилась тоскливая пауза. Лохматый фазаньей походкой прохаживался вдоль тяжёлых полок и делал вид, что изучает книги. Лысый устроился в кресле и внимательно разглядывал свои замысловатые ботинки – на стильной широкой шнуровке, рант окантован металлом. Таких ботинок в магазине было не купить, даже если имелись валютные чеки; такие можно было привезти из-за бугра или, на худой конец, добыть в комиссионке. Из-под полы. За невменяемые деньги. И потом носить в июльскую жару, преля и гордясь своим нездешним видом.

Не зная, что сейчас сказать, и не умея выдержать молчание, я для чего-то спросил:

– Вы не курите?

Тощий вынул пачку «Беломорканала».

– Угощайтесь.

Я смутился:

– Да я просто так спросил. Я некурящий.

Максуд отвлёкся от своих драгоценных ботинок и улыбнулся – широко, вольготно, как улыбается восточный человек из богатой и знатной семьи.

– И я сижу и думаю: что бы такое сказать? Вас, кажись, Алексеем зовут?

Несмотря на восточное имя, говорил он чисто, без акцента, только чуть растягивал слова.

Я подтвердил:

– Алексеем.

Бородатый чиркнул спичкой, затянулся, и я с неприязнью отметил, что и он, подобно Сумалею, проминает шуршащий табак, дует в гильзу и небрежным жестом сплюсшивает посередине. Он отступил от книжных полок, огляделся и с ответной ревностью спросил:

– Вы что, с Сумалеем вась-вась?

Вопрос мне показался наглым; я вспыхнул:

– А что вы называете «вась-вась»?

Никита аккуратно сдал назад и сказал примирительным тоном:

– Я что, я ничего. Просто вижу, телефон накрыт подушкой. Значит, вы с ним *говорили*.

Я ответил вежливо, хотя и с некоторым вызовом:

– Он мой профессор.

– О! – с театральной эмфазой воскликнул Никита. – Ништяк! Ты что же, прямо вот так, с философского? Ну, ты Спиноза! А мы, извини, технари.

Слово за слово; оказалось, что Максуд и Никита – сокурсники, учились когда-то в МИФИ, а сейчас работают в мюонной лаборатории на Кировской, для души лабают рок и переводят книги эзотериков. Каких? Ну какие бывают эзотерики? Немецких, разумеется. Каких ещё? Для чего переводят? Станный какой-то вопрос. Для себя, для друзей. Машинка Эрика берёт четыре копии – и этого достаточно... Когда переводили Эволу... ты, может, и Рене Генона не читал?! ну даёшь! – упёрлись в непонятные места. Стали искать консультанта. Нашли. Михаил Миронович сечёт и в этом.

Я снова был сражён всеядностью Учителя; не было гуманитарной области, в которой он не разбирался досконально.

10

Сумалей вернулся в кабинет с огромной медно-красной джезвой в тёмных картинных потёках.

– Что, друзья? Перезнакомились? И славно. Прошу! Вы, Максуд, располагайтесь в кресле, Алексей, вам доверяю сесть за мой рабочий стол, – я покраснел от удовольствия, – вы, Никита, сядете на место Ноговицына, а я, как древний пластический грек, возлежу.

Завязался бессюжетный разговор – сразу обо всём и ни о чём конкретно. О фильме «Апокалипсис», который показали на Московском кинофестивале («вот ведь, а я пропустил»), о внезапной смерти югославского вождя, о мистической эстетике нацизма и о новой моде на индусов и астралы, о парапсихологии и тайных дарованиях целительницы Джуны, об известных лекциях учёного-уфолога Владимира Ажэжи (или Ажажи, никто не знал, как ставить правильное ударение). Я им рассказал смешную байку – про ночных калмыцких пастухов, которые сидят в палатках, пьют чифир и бесконечно напевают: сымбыртыр пилять корабыр иоп твою мать; разгорелся смутный спор о неизбежном возвращении язычества... Сумалей следил за разговором, бегая глазами влево-вправо, как кот на старых деревенских ходиках. Вдруг словно что-то вспомнил, хлопнул по лбу и воскликнул, не дослушав тощего Никиту:

– Ах, я старый обезьян! Никита! Я сообразил! Вы же, этсамое, кинолюбитель! Давайте колитесь: Лени в вашей фильмотеке есть?

– Ленин? Какой Ленин? – ушёл в несознанку Никита.

– Не прикидывайтесь, вам не идёт, – заиграл желваками Учитель.

Молчание. Скрипят вращающиеся жернова. Никита осторожно, отсчитывая каждое слово, как продавец отсчитывает сдачу, произнёс:

– Михаил Миронович, но за неё...

– Спокойствие, Никита Вельевич! Только спокойствие. Я про вполне невинную «Олимпиаду», я же не прошу вас о «Триумфе воли»! Я из ума пока не выжил. Понимаю, на каком мы свете.

– Ну, можно поискать, – скривился Никита.

– Ноговицыну дадите посмотреть? Имеются причины. Я ручаюсь.

Слово «ручаюсь» он выделил голосом.

– А какая у тебя система? – спросил у меня бородатый, чем поверг в замешательство.

– То есть? Что значит система? Извините, но я в технике не копенгаген.

– Видёшник у тебя какой?

– Никакого. У меня нет видёшника.

– Как же ты, прости меня, живёшь? – изумился Никита.

– Уж такой я отсталый, – огрызнулся я.

– Ладно, что-нибудь придумаем, диктуй свой телефон, – ответил Никита смиренно; в присутствии Учителя творится благообразие возду́хов, волки срeтаются с овцами, а грозно рыкнуть может Михаил Мироныч, но только не его ученики.

Мы возобновили клочковатый разговор.

11

Без четверти пять я откланялся. Я хотел прийти заранее, купить цветы и спрятаться за безразмерной сталинской колонной. Муся с одинаковым презрением относилась к опозданиям – и к спешке; она всегда являлась вовремя, секунда в секунду, и по ней можно было сверять часы. Никаких вращающихся хронотопов, ускорившегося времени и прочей философской зауми; любимым Мусиным присловьем была ирландская пословица – «Бог создал время, и создал его достаточно». В шестнадцать часов пятьдесят девять минут она бойцовским толчком распахнёт бронебойную дверь, оглянется по сторонам. Я зайду со спины, обниму, выставлю букет с подмосковными розами, похожими на мелкие кудряшки, Муся вздрогнет, развернётся и влажно поцелует в губы. «Мой, мой, мой, душу, никому не отдам!» Слишком бурно, слишком киношно, слишком мещански; это мне как раз и нравилось – что слишком. Без гуманитарного отставленного пальчика, что вы, что вы, как можно, а как же священное чувство дистанции?

Но ещё на дальних подступах к метро я заметил возбуждённую компанию спортивных *юношей*. От слова веяло тридцатыми годами, сатиновыми чёрными трусами, физкультурным по́том, героическим парадом. Нейлоновые майки сеточкой, без рукавов; выпирают перекачанные мускулы, мышцы опутаны толстыми венами. Пустые светлые глаза. Яркое солнце, серые стены, белые майки, сахарные милиционеры на каждом углу... А между *юношами* – кокетливая *девушка*. Болтает с развязным блондином актёрского вида. И блондин ей отвечает молодым, незагустевшим басом. Бу-бу-бу, бу-бу-бу.

Я оторопел. Почему она сказала мне прийти попозже? Почему не захотела познакомиться? Это что ещё за фокусы такие? Я змейкой скользнул за колонну; было слишком далеко, доносились лишь отдельные слова: Самаранч... китайцы... Лужники... Битца... лошадки... ватерполо... Я начал себя успокаивать: всё в порядке, она же пловчиха, не с тобой же ей о спорте разговаривать. Стал осторожно приближаться, тенью скользя от колонны к колонне. Подобрался вплотную, сделал охотничью стойку, прислушался – и настроение совсем упало.

– Народ, – приказала Муся чужим притворным голосом, – ну давайте, валите отсюда.

Белобрысый пробурчал невнятно: фр-фр-гр-гр.

– Федюшка, ну я же говорю – пока. Возвращайтесь без меня, потом расскажете.

Этот чёртов Федюшка слюняво чмокнул Мусю и нагло пожаткал плечо. Юноши направились ко входу на новооткрытую станцию метро «Марксистская».

Муся огляделась, как воровка, утачившая с прилавка кошелек; мельком посмотрела на свои серебряные часики, достала круглую коралловую пудреницу, поправила глаза (она их подводи́ла чуть заметным голубым карандашом) и приготовилась принять восторги.

Придавив проснувшуюся ревность, я выступил из-за колонны. Муся просияла, бросилась на шею. Словно не было спортивных юношей, Федюшки, лошадок, Самаранча:

– Котичка!

– Муська, погоди секунду, я не успел купить цветы, – попытался я освободиться; слишком близко была её грудь, слишком явственным – низ живота.

– Да что ты, какие цветы. Но вообще, если хочешь, давай. Мне будет приятно. Видишь, чайные, мои любимые? – Муся указала пальцем на цветочный павильон, слева от киоска «Спортлото».

Она в одно касание сняла с букета упаковку (как целлофан с сосиски счистила; я сразу устыдился подлой мысли), бросила обёртку на асфальт, взяла цветы обеими руками, как берут за морду любимого пса, погрузила в бутоны лицо. Зажмурилась, вдохнула и произнесла с преувеличенным восторгом:

– Как я обожаю этот запах! Жизнью пахнет!

Хорошо, что этого никто не слышал; весь мой круг отреагировал на Мусины манеры однозначно. Я привёл её однажды в общежитие и сразу же почувствовал неладное. Девочки замкнулись, мальчики сделали стойку; за прекрасных дам, которые столь пышным цветом, троекратное, с оттяжкой, пьём до дна. Но на следующий день один из них, завистливый и горделивый Козин, спросил: «Ну и как там наша продавщица?» Козин схлопотал, конечно, но я перестал ходить на эти сборища. О чём никогда не жалел. Одиночество лучше притворства; самое противное на свете – изображать приязненного собеседника.

Муся вдохнула ещё раз, после чего приняла воспитательный вид и уверенно распорядилась:

– А теперь давай рассказывай.

– Что именно рассказывай?

– Что у тебя стряслось? Ты почему сорвался с места? Почему не позвонил и телеграмму не прислал? Это что ещё за бегство с места преступления?

– Папина жена, – неубедительно промямлил я, – кровотечение... реанимация...

– Она жива?

– Слава Богу, уже всё в порядке.

– Стоп-стоп-стоп. Котик, папина жена, больница, тётю жалко, но ты-то тут при чём?!

– Папа думал, что всё. Не маме же ему звонить?

– Хорошо, это ваши семейные дела, я в них не лезу. – Муся махнула рукой, улыбнулась и тут же вновь насторожилась. – Но всё-таки, котик, скажи. Ты же с поезда хотел ко мне? Ты как вообще-то, в больницу сегодня успел?

– Успел. Там уже всё улеглось, – неумело отоврался я.

– Ну, как скажешь. Улеглось так улеглось. – В голосе послышалось обиженное недоверие, но Муся никогда не требует прямого ответа, если ты не хочешь говорить – не говори.

Мы не спеша спустились к набережной, долго стояли над серой рекой, ели жирный ледяной пломбир с густым земляничным сиропом и пили полусладкое шампанское (другого Муся, к сожалению, не признавала, вкус у неё, несмотря на торговых родителей, был вполне себе сельскохозяйственный). Шампанское шипело и взрывалось пузырьками. Я рассказывал о чём попало – о субботниках в совхозном поле, позволявших натаскать провизии на всю неделю – недозревших крупных помидоров, чеснока, колючих огурцов и кабачков; о том, как тяжёлая рыба сверкает боками, а крючок впивается в её костистую губу; о калмыцких недокормленных коняшках, которые дрожат под седоком. Начал было про ночные разговоры пастухов, но почему-то вспомнил, как подслушал «строгих юношей», и сбился.

Муся вопросительно взглянула на меня.

– Котик, ты чего какой-то стал недобрый. Не такой, как всегда. Что-то случилось?

– Нет-нет, ничего, просто одичал в степи! – я вяло попытался уклониться.

– Точно ничего? Хорошо, попытаюсь поверить.

На пути к театру пьяненькая Муся напевала Пугачёву и Валерия Леонтьева, та-та, та-та повторяю, какое-то сердце, любовь подарю; хохотала без причины, громко, так что оглядывались прохожие, говорила:

– А куда ты меня ведёшь? А что мы будем делать?

– Сюрприз, – буркал я.

– Котинька, скажи мне, а какой сюрприз? Я люблю сюрпризы! Ну скажи, какой?

– Не скажу.

Я отвык от вечернего летнего света. В степи всё было просто, по-армейски, в семь пятнадцать пополудни солнце выключали из розетки и врубали снова вместе с гимном, в шесть утра: союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь. А тут светились контуры домов, вдоль них прогуливались контурные люди; вестибюль метро, подсвеченный оранжевым вечерним светом, напоминал античную ротонду на закате. Муся продолжала лепетать; мне это было не слишком приятно. Я не мог понять, что происходит, кто эти юноши в майках, почему она о них не говорит, и чувствовал себя полнейшим идиотом. Скорей бы в темень зрительного зала, там не нужно работать лицом. А потом, уже дома, обдумать.

Вот мы замерли на остановке. Вот переключился светофор. Посмотрели налево, направо, соблюдаем правила дорожного движения. Подошли к облезлому театру. Почему-то возле входа не было толпы надеющихся дам и молодящихся интеллигентных ухажёров, пожилой номенклатурной профессуры и узнаваемых директоров продмагов, исполненных наивного высокомерия. Только странный дядечка в дурацкой полотняной кепке, который притулился возле кассы, старательно сливаясь с общим фоном, словно ящерка, прилипшая к стене.

Я изучил июльскую афишу и понял, что непоправимым образом ошибся. «Гамлета» давали вчера, а сегодня никакой Высоцкий нам не светит, как не светит всю ближайшую неделю; Шекспира в следующий раз покажут в олимпийский День театра.

Остаётся слишком долгих девять дней.

– Муська, я лопухнулся, прости. Хотел повести на Высоцкого, а вон как вышло.

– Ничего, – ответила она. – Отложим, целая жизнь впереди. Ты же не отменишь приглашение?

– Если достану билеты.

Дядечка, стоявший возле кассы, сделал странное движение и, не отлипая от стены, резко наклонился.

– Вам на Владимира Семёновича?

– Вы про двадцать седьмое? На «Гамлета»?

– Ну да.

– Два билета в партер.

– В парте-е-ер? – присвистнул дядечка. – В партер найдётся. Но вам дороговато станет.

– Сколько?

– Тридцатка за один. Красенькая за два.

– Пятьдесят рублей?! – Я сделал вид, что изумлён; вдруг у спекуля проснётся совесть.

– А вы чего хотели? Там официально семь с полтиной, а ещё пойдёшь достань.

Я отвернулся, достал из подкладки две фиолетовых гладких бумажки, протянул. Муся восхищённо засмеялась:

– Ноговицын, вы мой герой! Я тащусь. Я была в тебе уверена! А сейчас пойдём к тебе, успеем на повтор.

– Повтор чего?

– Повтор открытия.

– Какое открытие?

– Ну ты даёшь. Открытие какое. Спроси ещё, как меня зовут. Олимпиады открытие, вот какое. – Глаза у Муси сделались большие и сердитые.

– А, теперь понятно, что пошли досматривать твои дружки, – не выдержал я.

Муся сразу перестала притворяться пьяной. Она отстранилась, чуть растерянно и вместе с тем прохладно посмотрела на меня.

– А, так вот в чём дело. Я-то думала... Ты что, следил за мной?

– Случайно подсмотрел. Как в анекдоте: приезжает муж из командировки...

– А ты мне никакой не муж. – Муся вдруг заговорила твёрдо, непреклонно; она умела быстро переключать регистры. – Лёша, мы должны с тобой условиться: если я захочу с кем-

то другим встречаться, ты узнаешь об этом первый. А если не захочу – значит, не захочу. Я же твою православную дикость терплю? Нет, ты скажи, терплю? Я живая, я в твою церковь не верю. Но я от тебя не ушла? Отвечай: не ушла? Нет-нет, не опускай мне тут глаза, говори!

– Не ушла, – недовольно ответил я.

– Ты думаешь, мне это легко?

– Не думаю, – разозлившись, я как будто каменел.

– А ты подумай.

– На досуге подумаю.

– Вот такой ты мне нравишься. Такой – ты хороший.

Муся снова обвила меня кольцом, сцепила в замочек сильные пальцы.

– Стоп! Попался! Не рыпаться. Котик, ну хватит. Ладно, я дура. Нужно было тебе написать. Или всё как есть сказать по телефону. Эти ребята – пловцы. Ты же в Лужники со мной не ездишь плавать, правда? А они ездят, и мы с ними можем поговорить о спорте. Понимаешь? Спорт – это не так плохо, как ты думаешь.

– Муся, неудобно, люди смотрят.

– Пусть смотрят. Я своё держу, не чужое.

– А Федя твой – это кто?

– А Федя – это просто Федя. Ничего. Хороший парень. Мальчишек тренирует забесплатно, по субботам, в школе юного спортсмена при «Динамо».

– А в остальное время где учится-работает?

– Не знаю. Какая мне разница?

– А почему он Федюшка?

– Нипочему. Я тебе всё уже сказала. Что не познакомила – прости. А больше мне каяться не в чем. Всё, мир? Поехали к тебе, смотреть открытие? А может, всё-таки ко мне? Ну что мне сделать, чтобы ты передумал? – Муся ослабила жим.

Она спрашивала это всякий раз, при каждой встрече – с тем же влюблённым упрямством, с каким мама готовила блинчики в пост. И с тем же ответным упорством, доброжелательно-железным тоном я в очередной раз ей отвечал:

– Муся. Мы. С тобой. Договорились.

– Всё, всё. Поняла. Как прикажете, ваше величество. Едем к тебе. То-то Наталья Андреевна будет рада!

– Язва ты, Муся. Только заклинаю всем святым, ты про папину жену молчи. Ну, ты сама понимаешь.

– Да-а-а, тяжёлый, запущенный случай. Я иду, пока вру. Ты идёшь, пока врёшь. Вы идёте, пока врёте... Для меня придумал папину жену. А что для мамы сочинишь?

Я съёжился, неловко хохотнул:

– Что-нибудь попроще, без затей. Например, в аспирантуру вызвали, нагрянула комиссия, срочно требуют последнюю главу. Годится?

– Я бы не поверила, но я не мама.

– Вон автомат, я пойду позвоню. Двушка есть? А то я на тебя последнюю потратил. Шучу-шучу. И ещё я заскочу на телеграф, это прямо на одну секунду, правда.

– Зачем на телеграф?

– Нужно отбить телеграмму.

– Куда?

– На кудыкину гору. Ну послушай, не дуйся, мне действительно надо.

– Кому?

– Какая тебе разница, ты же всё равно не знаешь. Нет, не девушке. Нет, мужчине. Если бы девушке, я бы говорить не стал. Нет, я не хочу букетом в морду. А после поймаем машину и заедем на вокзал за рюкзаком.

День второй 20. 07. 1980

1

Накануне мы сидели допоздна. Сначала мутно объяснялись с мамой – что, да как, да почему; Мусино присутствие слегка сглаживало панику, но до конца её не погасило. Мама пусть не сразу, но поверила, что я здоров и никто меня не обидел, а тупые ВАКовские правила переменились, и нужно было срочно возвращаться. Поверив, стала мелко суетиться; а что я могу приготовить, холодильник-то пустой, сама я вечером не ем... Мы говорили, что сыты, даже шампанское пили; мама принялась: правда. Муся предложила:

– Может быть, посмотрим телевизор?

Я расположился на диване, она уселась на диванный валик, а мама устроилась в кресле-качалке, под оранжевым польским торшером, и чересчур сосредоточенно вязала.

Вид у мамы был комичный. Сморщив лоб и шевеля губами, мама ученически считала петли. Довязав очередную полосу пуловера, она плотоядно загоняла спицы в дымчатый клубок и поднимала глаза на экран.

Вообще, она любила телевизор, знала всех телеведущих, разговаривала с ними. Сияющему диктору Кириллову мама отвечала со смешком: спасибо, Игорь Леонидович, порадовал; если на экране появлялся журналист-международник Каверзнев, шепелявый, сдобный и печальный, мама замирала от восторга: «А-а-а-а, так во-о-от в чём дело, Александр Александрович, поня-ятно». Обозревателю Бовину, похожему на переевшего бульдога, она всегда внимала молча, потрясённая его нечеловеческим умом.

Тем более ей нравилось открытие Олимпиады. Спортсмены со знамёнами, солидное начальство в пиджаках с большими металлическими пуговицами. Шамкающий Брежнев, старенький уже, смешной, ему бы на пенсию, внуков тетёшкать, только кто его, несчастного, отпустит... Но стоило маме подумать о Мусе, как правая бровь непроизвольно поднималась и словно переламывалась пополам; мама поджимала губы и раздувала второй подбородок. Какой незастенчивый голос, какие некультурные слова. «Родной мой человек», «всё путём», «маслице», «яишенка», «ей-право». Даже сыночка не выдержал однажды, сделал этой фифе замечание, мол, не надо говорить «говна пирога», а она ему – при посторонних, не смущаясь! – «будешь слушать всю жизнь и умиляться, ясно?». Ну что за отвратная девка? Нагло отказалась от предложенного стула и жирной задницей прижалась к Алёше. Пальцы запустила в шевелюру и почёсывала, как дрессированного бобика... Бедный Лёха. И зачем он с ней связался. Дунька дунькой, нос курносый, серые глазища отливают сталью. Смотрит нагло, на губах играет подлая улыбка.

Стараясь не смотреть на это безобразие (тоже мне, наездница с картинки), мама медленно вытягивала спицы из клубка, как вытягивают боевую шпагу, и приступала к следующему ряду... Петелька, петелька – накид. Петелька, петелька – накид.

Мохеровая нить скользила змейкой. Спицы щёлкали. Губы шевелились.

«Слава Олимпи-и-ийскому движе-е-е-е-е-е-е-е-ению!»

Досмотрев, мы отправились на кухню. Мама, внутренне гордясь собою, подала на стол берлинское печенье, жёлто-белое, слоистое. Это папа вчера заезжал, починить журчащий уни-

таз; они вдвоём не доели, осталось четыре колечка. (Услышав про папин визит, Муся криво усмехнулась.) Полупрозрачной струйкой мама разлила по чашкам старую заварку. Самоотверженная Муся промолчала – хотя предпочитала чай густой, свежесваренный, исключительно индийский со слонем на коробке. И чтобы обжигающе-горячий! Не иначе! В ответ и мама проявила благородство, когда Муся по-хозяйски цапнула лимон, разрешила его пополам, незкономно выдавила сок в тонкостенную фарфоровую чашку, расписанную сине-золотым узором, и самодовольно облизала пальцы. (Прям как барыня какая, не стеснясь!) Мама одёргивать Мусю не стала; вместо этого сказала ей доброжелательно-беспечно:

– Вам он тоже ничего не написал? Не позвонил? Свалился как снег на голову? Вот сахар, вот варенье, абрикосовое, из жердели, её присылают с Кубани, там живёт моя станичная родня. Прошлогоднее, зато сама варила. Меня он не слушает, вы бы ему объяснили...

– Спасибо, Наталья Андревна, очень вкусно. Вы такая мастерица. Нет, ничего не сказал, он такой, – хлопала Муся ресницами, дескать, я ни сном ни духом.

– Вы своих растите по-другому, не повторяйте моих ошибок, не спускайте с самого начала.

Муся покраснела, мама словно не заметила:

– Главное – не пропустить момент. Их воспитывать надо, пока лежат поперёк лавки, когда вдоль – уже поздно... Когда я забирала Алёшеньку из больницы, у него был рахит...

Я взорвался:

– Мама! Может, хватит?

– А что я такого сказала? Мариночке важно знать про тебя. И про плохое тоже. Хорошее она и так увидит.

Мама знала, что Муся – Мария, но в этой постоянной ласковой ошибке заключалось сразу всё: и тёмная бабская ревность, и показная готовность смириться – сыночка, всё ради тебя, мой родной.

Муся, подавляя неприязнь, тоже стала сахарно-медовой:

– Конечно, Наталья Андревна, учту.

Я разозлился окончательно и, добавив голосу металла, ответил им обоим сразу:

– Поздно. Уже. Я. Мусю. Домой. Провожу.

– А Марина не останется у нас?

Эх, мама, знаешь ведь, что не останется. И почему.

Пытаясь смягчить обстановку, Муся предложила: давайте посмотрим ещё репортаж и поедем. Наши сегодня играли с индусами, чем там завершился баскетбол?

2

Мы познакомились с Мусей случайно, в марте семьдесят восьмого года. В знаменитом пивбаре на «Киевской», где днём студенты пересаживают пары, а по вечерам гужется ликующая гопота.

Я сидел в своём любимом углу, возле огромного полуподвального окна. Были видны чёрный слежавшийся снег и унылые ноги прохожих – в растоптанных зимних ботинках, стариковских суконных «прощайках» и женских гладких утеплённых сапогах. Снаружи было холодно – пришёл, что называется, марток, из окна поддувало. Я терпеливо вылущивал скользкие тельца креветок; мясо прикипело к панцирям, разлетались розовые брызги. Зверски хотелось пива (в кружке оседала пена), но сначала нужно было справиться с поставленной задачей.

Вдруг на стол опустилась пузатая кружка и кто-то сверху властным голосом спросил: молодой человек, я к вам присяду? Вы не против?

Я поднял голову. Передо мной стояла крупная деваха. Как ей полагается, блондинка. Светлая короткая дублёнка с оторочкой, синий мохеровый свитер с широкой горловиной.

Ничего особенного. Даже более чем ничего. Прежде чем уйти в издательство «Наука» и возглавить там бюро проверки (как сегодня сказали бы, отдел фактчекинга), мама долгие годы работала в «Прогрессе» корректором – и вычитывала вёрстки многочисленных переводных романов. В основном из стран народной демократии. Каждый вечер после ужина она раскладывала рукопись на тесном кухонном столе и, орудуя карандашом и ластиком, вносила правку. И ругалась. Ну сколько можно. Что за стыдоба. Опять эти полные груди. Опять это крепкое тело. Штампы! Переводчики халтурят! А редакторы куда смотрели?

Деваха была воплощением этого штампа. Она улыбалась победительной улыбкой, не допуская мысли, что ей могут в чём-то отказать.

– Прошу, – пожал плечами я.

Девушка уселась поудобней и демонстративно растянула горловину. Кстати, все эти «мягкие шеи» мама ненавидела ещё сильнее.

Я стал с удвоенной энергией счищать с креветок неподатливую шкуру, стараясь удерживать брызги.

– А что это у вас такое? – спросила девушка. – Креветки? А можно я одну возьму?

– Возьмите, – я почти огрызнулся, не зная, как мне от неё избавиться и при этом не выглядеть глупо.

– Очень вкусно! Спасибо большое. Может быть, мы всё же познакомимся? И вы мне позволите ещё одну креветочку? Ой, у вас пена на пиве осела, надо скорее пить, а то пузырьки все уйдут!

– Меня зовут Алексей, – я отвечал церемонно. – Пожалуйста, возьмите.

Но про себя подумал: «Ничего себе нахалка».

– А меня зовут Муся. Что, за знакомство? Чок-чок. А почему вы такой хмурый? У вас неприятности? Вы где учитесь? На филосо-о-офском? Ничего себе. Ах, уже в аспирантуре? Какой вы, наверное, умный. А я в Плехановском, ну, Плешка, слышали?

– Слышал. Товароведом будете?

– Хи-хи. Смешно. В следующий раз, пожалуйста, шутите не так остроумно. Так я ещё одну креветочку возьму? Вы для меня ещё почистите? Вот спасибо.

Деваха откровенно и привычно флиртowała, ожидая встречного заигрывания; что уж там она во мне нашла, не знаю, но вела она себя с напором. Штампы штампами, но в ней была народная прилипчивая красота, которую не встретишь у субтильных девочек с филфака; не смотреть на Мусю было трудно. Само собою вспомнилось из Пушкина (он пересекался с кругом Любомудров, о которых я писал диссертацию, так что в некотором смысле был моим героем) – Денис Давыдов отвечал ревнивой даме, отчего же он решительно предпочитает камеристок: «Что делать, мадам, они свежее». Случись эта встреча на несколько месяцев раньше, я бы охотно повёлся. Конечно, Мусю было бесполезно впечатлять вечерней службой, но если пригласить на иностранный фильм (как раз неподалёку, на Кутузовском, был старый, неухоженный кинотеатр «Пионер»), она наверняка бы согласилась. То да сё, пятое-десятое, чаёк-кофеёк, руки-то не распускай, ко мне пойдём или к тебе?

Но не будет больше никакого липкого соблазна; я хочу ходить на исповедь и причащаться.

Поэтому я чинно продолжал беседу. Муся, поначалу иронично, а потом всерьёз и почти увлечённо выясняла у меня, чего сейчас читают умные воспитанные люди, какие театры в почёте, какие в загоне, а правда ли, что в работах Гегеля двенадцать методологических ошибок (так им объясняли на научном коммунизме, на зачёте полагалось отвечать как отче наш, в чём Гегель ошибался в-пятых, в чём в-восьмых, а в чём в-двенадцатых). Я отвечал подробно-сдержанно, вежливо чистил креветки, по просьбе Муси сбегал к автомату и, кинув в прорезь тяжёлый двадцарик, наполнил кружку мутноватым пивом. Но никаких попыток завязать серьёзное знакомство не предпринял.

Муся была то ли обижена, то ли заинтригована; она внимательно смотрела на меня и ждала, когда же я решусь начать сближение. Не дождавшись, недовольно повела плечами, облила кончики пальцев, порылась в большой переполненной сумке и сказала, перейдя на «ты»:

– Что-то сегодня у нас не заладилось. Вот тебе мой телефон, позвони. И знаешь, как мы поступим?

– Как?

– Ты мне свой тоже напишешь. Сюда. Только на стол не клади, он грязный, пиши на весу, – протянула она записнушку.

Тем же вечером телефон заверещал.

– Слушаю.

– Алексей? Это я, Муся. Мне показалось, я тебе понравилась. Я ошибаюсь?

Как я мог ей объяснить, что происходит? Какое происходит внутреннее противоборство, когда ты хочешь одного, думаешь другое, а следуешь третьему. Поэтому, краснея от неловкости, промямлил:

– Я рад, что ты мне позвонила.

– Значит, я была права, понравилась. Ты учти, я редко ошибаюсь. Знаешь что, поедem в воскресенье за город? На станцию Электроугли? Там в ДК концерт «Машины времени». Ну как это кто это? Макаревич, Кутиков... Ой, ты, что ли, правда их не знаешь? Ты просто ископаемое! Экземпляр!

Я презирал всю эту *ерундистику* и ни на какие модные концерты не ходил, но Мусино *мягкое горло* было сильнее убеждений.

Мы договорились встретиться у дальних поездов: на пригородной платформе будет дикая толпа, можно легко разминуться. В полчетвёртого я был на Курском, под тяжёлым стеклянным шатром, заросшим щетиной из грязи. Сквозь грязь с трудом просверливалось солнце, вокзальный воздух был замызганным и серым. Но уже нагрянула скоростная весна, на улице было тринадцать градусов; день обещал быть роскошным – пока не стемнеет. А как только стемнеет, распухнет холод.

Вскоре появилась Муся – в голубом джинсовом пальто, с широким поясом на белой пряжке и в очередном горластом свитере.

– А цветы где, кавалер? – засмеялась она без обиды и сама взяла меня под руку. – Ладно, всё равно помёрзнут, за городом пока ещё зима. Но попрошу учесть – на будущее – я девушка балованная, хоть самый дешёвый букетик, да мой. Ну, Бобик Жучку взял под ручку! Крепко держимся друг за друга, а то разнесут по разным вагонам! Ты билеты уже купил? Молодцом.

Бок у Муси был плотный и тёплый, и почему-то я вспомнил, как в школе обожал прогуливаться со старшеклассницами-вожатыми, обнимая их за убедительные талии.

Платформа кишела подростками. Типичные окраинные десятиклассники, покупавшие одежду в «Польской моде», в линялых джинсах и синтетических сопливых куртках. Их половозрелые девицы, настежь распахнувшие плащи, чтобы видно было прозрачные блузки; все возбуждённо толкались. В эту подростковую толпу как-то затесалось несколько студентов в настоящих джинсах Lee и Super Rifle, в куртках-космонавтах и таких же дутых сапогах; студенты не кричали, не толкались, не погнабливали школьников, просто добродушно перешучивались – видимо, уже привыкли к неизбежной суете перед концертом.

Электричка раздвинула двери, в нос шибануло невысохшим мебельным лаком. Все стали задорно вбиваться в вагоны, девочки восторженно визжали.

Мы остались в тамбуре – здесь ветер дул в разбитое окно, разбавляя ядовитый запах. Ехать пришлось по стойке смирно, невольно вжимаясь друг в друга; я чувствовал, что покрываюсь потом. Шум стоял такой, что нам приходилось кричать прямо в ухо и как можно громче.

– И что же? Каждый раз вот так?

– Что? А, да! Ничего, не страшно, ехать близко!

Вдруг электричка заходила ходуном и толпа понеслась по вагонам, затягивая нас в водоворот:

– Атас, братва! Кондукторá!

Через полчаса нас выплеснуло на платформу; мы прибились к ограждению, дали толпе унести. Здесь и вправду было холодней, чем в городе; лёгкие сумерки вот-вот обещали сгуститься; сквозь гриппозное солнце уже подул ледяной ветерок.

Я отлепился от её карамельных губ.

Муся посмотрела туманными глазами:

– Это мы что? Это мы как? – И добавила: – Очкиними...

И снова приоткрыла губы.

Ветер перешёл в атаку. Небо затянулось серой плёнкой, с неба посыпался мартовский снег, колючий и мелкий, как стиральный порошок; вот тебе и ранняя весна. Мы наконец-то оторвались друг от друга и вприпрыжку побежали в клуб; чудом успели к началу. Взяли самые паршивые билеты – откидные стулья на галёрке, со скандалом шуганули безбилетников, уже успевших занять наши места. Свет через минуту вырубили, и на сцену бодрыми кузнечиками выскочили музыканты. Один, курчавый, с мушкетёрскими усами, слегка напоминавший Джо Дассена, гордо шагнул к микрофону и оскалил огромные зубы. Остальные покорно подвинулись в тень. Публика взревела от восторга: «Макар! Давай, Макар!» Курчавый парень с удовольствием поглядывал на публику, пробовал звук. Ударник рассыпчато прошёлся по тарелкам, и тот, кого звали Макаром, запел: «Но верю я, не всё ещё пропа-ало... пока не меркнет свет, пока горит свеча-а-а».

Мне редко нравилось тогдашнее гитарное нытьё; в любой компании, что на дне рождения отца, что в аспирантской общаге, на четвёртой рюмке все впадали в сладкую задумчивость и кто-нибудь несмело трогал струны. Обычно для разгона брали туристическую пошлость: «А я еду, а я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги». После этого зудели Окуджаву: «Подумайте, простому муравью вдруг захотелось в ноженьки валиться, поверить в очарованность свою». Откупоривали свежую бутылку, наскоро её опорожняли и опять хватались за гитару. Наступало время настоящей страсти: в очередь рычали гордого Высоцкого, речитативом повторяли затяжного Галича. А заканчивали тем, что принимали позу коллективной кающейся Магдалины и мурлыкали приятные слова: «Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой...»

На фанерных стульях приходилось постоянно ёрзать, чтобы задница не затекала; передо мной сидел лохматый здоровяк, голова которого перекрывала сцену; было неуютно, неудобно. А всё равно я чувствовал, что поддаюсь. Ещё немного – стану умиляться. И, чем чёрт не шутит, подвывать. *Я забыл о буре и о громе, мне теперь дорожке – тишина-а-а...* Школьная толпа пришла в экстаз и начала раскачиваться, как киношные немцы в пивнушке. И Муся раскачивалась вместе с залом, подпевая и пощёлкивая пальцами. Свет метался по залу и внезапно высвечивал Мусю. Над ней загорался прожекторный нимб, и Муся делалась похожей на дешёвую бумажную икону. Иногда она поглядывала на меня, то ли с гордостью, то ли с тревогой. Видишь, куда я тебя привела? Мне тут по кайфу. А тебе взаправду нравится?

Возвращались мы в суровой темноте: в электричке вырубило свет. Подростки громко гласно распевали: «Кто? Кто? Кто тебя таким создал! – Кто ты? Скажи сам себе хотя бы в этот раз!» – а я сунул руку в Мусин карман и незаметно гладил бедро с упоительно выступающей косточкой, не решаясь спуститься чуть ниже, хотя и чувствовал весёлое согласие, и с ужасом думал, как буду объясняться с Мусей, когда она предложит к ней зайти.

– Ну, молодой человек, как говорится, приглашаю вас на чашку кофе. Или что вы пьёте на ночь? Чай?

– Исключительно воду.

– Что, боишься не уснуть? Я тебе и так уснуть не дам, не бойся. Дома никого, родители мои в Алжире, там мой папочка работает торгпредом, выполняет задание родины. Я сама себе в Москве хозяйка.

– Слушай, Муся, – промямлил я, сгорая от неловкости. – Надо поговорить.

– Хорошо, давай уже поднимемся и поговорим. – Муся слегка напряглась.

– Я так не могу. И подниматься не стану. И хочу прямо сейчас объяснить почему.

– Так. Это моя привилегия – включать динамо. Мне нельзя, начались дела, голова болит, завтра-послезавтра-никогда. Ты-то чего? – рассердилась она.

– Ты неверующая?

– Что? Не поняла.

– Ну, ты в Бога ведь не веришь? В церковь не ходишь? Я правильно понял?

– Ещё чего? Конечно, не хожу.

– А я хожу.

– В какую именно? В ту, где кресты? Или в ту, где звезда, на Архипова? А может, дико извиняюсь, в ту, где полумесяц? – Муся смотрела упорно, холодно, не отводя взгляда.

– В ту, где кресты.

– Значит необрезанный? Сейчас проверим... Эй, не обижайся, ну ты чего? Ходи себе на здоровье, мне-то что?

– Муся. Мне вера запрещает... это самое...

– Милый, ты чего – дурак? Всю, прости господи, дорогу меня лапал, а теперь – какая-то религия? В общем, выбирай: идём ко мне, или больше никогда мне не звони.

Она опять позвонила сама. То ли в последних числах марта, то ли в первых числах апреля; в тот день (я это хорошо запомнил) грянула внезапная жара, восемнадцать градусов по Цельсию; из почек проклюнулись тонкие листья, похожие на свёрнутые язычки; между пыльными рамами пыталась ожить прошлогодняя муха, она взлетала вертикально вверх, ненадолго зависала на уровне глаз, ударялась в стекло и валилась обратно.

Странная была в тот год весна, неуравновешенная, её бросало то в холод, то в жар.

– Слушай, котик, – начала Муся без предисловий, – до меня тут, кажется, дошло. Ты и вправду дурак. Я не ошиблась?

– Конечно, Муся, я дурак. Но очень рад тебя слышать. Значит, всё-таки немного умный.

– Был бы умный – сам бы позвонил.

– Но ты же запретила?

– Я и говорю: дурак. Но ты знаешь, я хочу разобраться. Возьми меня в свою церковь. Возьмёшь?

– Возьму. – Такого разворота я предположить не мог, поэтому ужасно удивился. – Пойдём в субботу на вечерню?

– Нет, я в субботу не могу. В субботу я, пardon муа, собираюсь с подружками в баню. У нас зарезервированы Сандуны. Тебя, извини, не возьму, да ты бы и сам не пошёл. Ты же скромный, пока свет не выключили. А мне говорили, что службы у вас воскресные, так? Вот в воскресенье я готова. Что нужно взять с собой?

– Купальник, тапочки и полотенце.

– А если без этих глупостей? Так сказать, считаясь с уровнем народонаселения.

– Без глупостей – нужен платочек.

– Чтобы я была как бабка? Ага, прям щас. Обойдётся импортной береткой. – Муся произнесла это слово смешно, с протяжным «э»: береткой.

Она и впрямь пришла в кокетливой рижской беретке, с торчащей пимпочкой, похожей на твёрдый сосок. И в хорошо протёртых синих джинсах с диковинным лейблом на попе. Такие было не достать у спекулянтов и даже в валютной «Берёзке»; это ей *оттуда* привезли. Щёку не подставила, даже руку не протянула. В церкви быстро огляделась, выбрала местечко у стены, откуда лучше видно, хотя и хуже слышно, и по стойке смирно простояла от *благословенно царство* до прощального *с миром изыдем*. Не крестилась и не кланялась, а когда протягивали свечку – передайте, – брезгливо брала её двумя пальцами, как некурящий берёт сигарету. На змеиный шип благочестивых тёток: почему в штанах пришла, руки сложи ладошкой, чего крест не кладёшь – не реагировала.

После выноса креста и начала суетливого молебна строго повернулась ко мне.

– Изыдем – значит, уходим? Это значит, всё – финита ля комедия, пошли титры?

– Практически.

– А там чего такое, – она кивнула в сторону детсадовской толпы бабулек, окруживших важного отца Георгия и дробно крестившихся на всякий возглас.

– Это послеслужбие, стоять необязательно.

– Необязательно? Тогда пошли на воздух.

Улица была кривая, вела то вверх, то вниз, незаконно петляла, и мы петляли вместе с этой улицей. Оба молчали. Я пинал небольшую ледышку (сегодня вдруг опять похолодало, и последние ошмётки стаявшего снега смёрзлись). Вдруг Муся резко тормознула, я в неё едва не врезался, посмотрела мне в глаза.

– Ты же хочешь знать, что я об этом думаю?

– Скорей всего, я это знаю и так.

– И?

– Ты думаешь: вот из-за этой скисшей скуки он игнорирует меня, такую прекрасную и удивительную? Не может быть. Тут что-то не так. Угадал?

– Не угадал. Мне понравилось. Я ничего не поняла, но красиво и что-то такое в этом, наверное, есть.

Я почти обрадовался.

– Значит, ты меня поняла?

– Нет, не значит.

– Девушка, вы как-нибудь определитесь.

– А я не хочу определяться. Понимаешь ты? Не-хо-чу.

– А чего же ты хочешь?

– Я? Хочу попробовать с тобой. Не знаю, что получится, но хочу.

– Почему со мной?

Вопрос был, прямо скажем, идиотский. Но Муся почему-то отнеслась к нему серьёзно. Она нахмурилась, сосредоточилась и начала перечислять, загибая пальцы:

– Во-первых, ты симпатичный. Несмотря на толстые очки. Во-вторых, не ботаник, при этом не торгаш. Наши, плешкинские, они же из другого теста. Продай, купи, достань, ты мне – я тебе. А мне этого ничего не надо, у меня и так всё есть, без них, спасибо папе. В-третьих, я хочу туда, где ты.

– Куда же?

– Слушай, ты со мной разговариваешь, как журналист с директором универмага. Вопрос на уточнение – ответ, вопрос на уточнение – ответ. Куда, куда. Как будто непонятно. Туда, где книжки, выставки, спектакли, музыка. И даже философия. Я про неё почти не понимаю, но лампочке неважно, как действует электричество, ей просто нужен ток, а для тока необходима розетка. Ты понял? Поэтому, в-четвёртых, в-пятых и в-шестых – она помахала кулаком перед

моим носом, – я хочу, чтобы ты оставался у меня! И не хочу тобой делиться. Ни с кем. Даже с ней.

– С ней – с кем?

– С этой твоей церковью.

– Ты же говоришь, что тебе понравилось.

– Понравилось, и что с того? Меня туда никто не звал.

В эту самую минуту из соседней арки вышел очень странный человек; таких когда-то называли дурачками. В неопрятной брезентовой куртке, толстенький и скособоченный, с непомерно большой головой.

Заранее распространив улыбку по неуклюжему лицу, человечек направился к нам. Он шагал вразвалочку, словно бы переминался с ноги на ногу. Чем-то он мне напомнил плюшевого детского медведя, засаленного от частого употребления.

– Здравствуйте! – слюняво пришепётывая, сказал он и просиял.

– Здравсьте, – растерянно ответила Муся и отодвинулась на полшага: от человека пахло тяжёлым, лежалым.

– А что же вы к нам не приезжаете?

Казалось, шире улыбаться некуда, но странный человек ухитрился ещё сильнее растянуть губы. Обнажились неровные жёлтые зубы и бледные дёсны.

– А к вам – это куда? – спросил я и подумал, что Муся права, у меня дурацкая привычка задавать вопрос на уточнение.

– Как куда? К нам, к преподобному! У нас, у преподобного, так хорошо! Вы даже не думайте, ехайте! Мы будем вас ждать!

Сам себе покивал головой, охотно согласился со своей нехитрой мыслью, ещё немного постоял, подумал – и добавил:

– А рублика у вас не будет?

Я порылся в карманах, протянул ему горстку монеток. В основном пятаки и копейки, но было там и несколько пятнашек; до рубля, я думаю, не дотянул, но копеек восемьдесят набралось. Тот, не ослабляя яростной улыбки, деловито всё пересчитал. И, утратив всякий интерес к нам с Мусей, удалился.

А Мусе почему-то захотелось страстно целоваться, именно здесь и сейчас, на виду у прохожих; только что она была холодная и неприступная и начинала злиться, и вот уже глаза играют, губы тают воском, по языку скользит язык, всё забыто, мы вместе.

И удержаться было невозможно.

Под конец она посмотрела на меня растаявшим, чуть пьяным взглядом и спросила:

– И что, вот так и будем без конца мусолить губы?

– Так и будем. Пока не поженимся.

– Это ты мне сделал предложение?

– Считаю, что да.

– Хорошо, я подумаю. А вообще нет, не буду думать. Я согласна. Не получится – пойдём в ближайший загс и разведёмся. А получится – будем жить долго и счастливо и умрём в один день. Ты хочешь умереть со мной в один день? Нет? А что же так? Шучу, шучу, это от хорошего настроения. Но ведь не завтра же поженимся?

– Не завтра.

– А когда?

– Сразу после защиты. Я устроюсь работать, будет на что жить. И с мамой надо поговорить.

– Ах, да, у нас же мама. Мы хорошие мальчики. А если мама заругает? Передумаешь?

– Не передумаю. Но не поговорить с ней – не могу.

– Угу. Понятно. Независимость. Ну хорошо. А когда ж мы будем защищаться?

– В восьмидесятом, в сентябре.

– В восьмидесятом?! – Мусино лицо перевернулось. – Ты смеёшься? В апреле семьдесят восьмого ты мне говоришь – в восьмидесятом... Это же целых два года ещё...

Не два, а два с половиной, подумал я, но промолчал.

– Я не выдержу... Я живая, Лёша, ты пойми... Сказал бы кто, что такое может быть – со мной! Я б не поверила. Ладно, что с тобою делать – я подумаю. Пойдём хотя бы ещё погуляем.

3

Так мы и жили эти два с половиной года – словно танцевали пионерский танец, на расстоянии вытянутых рук. Ездили в кинотеатры на окраине, где показывали всё, что пахло авангардом и полупротестом; сидели на торгпредовских местах в старомодном, но приятном театре имени Вахтангова и живом, бурлящем «Современнике», подолгу бродили в Нескучном саду, заезжали в Серебряный Бор, катались с горок в имении Узкое, где в те годы обретался санаторий Академии наук; я показывал Мусе усадебный дом, вокруг которого бродили академические старички, объяснял, что в самом начале XX века в этом доме умер гениальный – странный – неприкаянный философ Соловьёв, излагал его мистическую «Повесть об Антихристе», рассуждал о подтверждении его пророчеств. Муся вежливо слушала.

Мы целовались. Спорили. Молчали. Возле Мусино дома расставались, и она смотрела испытующе: не передумал?

Я отводил глаза.

Это повторялось каждый божий раз; Муся отличалась редкостным спокойствием – и столь же редкостным упорством. Причём без выверта, без театральной позы, в отличие от нашего семейства. Да? Нет? Ну хорошо, как скажешь, спросим в следующий раз. Точно так случилось и вчера. Мы посмотрели поздний репортаж о сказочном успехе нашей баскетбольной сборной, я доставил Мусю на «Сокол», мы ходили вокруг её дома, говорили ни о чём и обо всём, горячий асфальт остывал, гавкали ночные псы, нам было хорошо, но я по-прежнему не передумал и в половину первого нырнул в метро. Снова не попал на пересадку; пересёк Белорусскую площадь, неживую, тёмную, пустую, бросил пятак в косую прорезь и в абсолютном одиночестве спустился вниз по эскалатору, как в романтическом кино шестидесятых: а я иду, гуляю по Москве, и я – пройти – ещё – смогу. И на подходе к собственному дому вновь увидел яркое окно с печальным силуэтом.

Мама.

Она всегда меня ждала, как бы поздно я ни возвращался. Я старался тихо отпереть замок, в надежде незаметно проскользнуть, но мама непременно выходила в коридор и смотрела на меня влюблёнными ревнивыми глазами. Я злился на неё, орал, даже как-то разбудил соседей, но в следующий раз окно опять светилось. То же упорство. Другое по форме, но такое же точно по сути.

Будильник я завёл на восемь, чтобы оклематься перед поездкой к декану (надо было заявить о возвращении из стройотряда и получить его формальное согласие). Но жарким ранним утром, в шесть с копейками, в соседнем доме саданула дверь и вырвался животный вопль: – Ай-йа-а-а! Билал! Билал!

Голос я узнал сразу: вопил Мансур, младший брат моего одноклассника Шархемуллина. Дверь снова ухнула, и на этот раз кричала женщина:

– Мансур, домой! Мансур, не надо!

И что-то ещё по-татарски.

Я вскочил, раздёрнул занавески.

Наши дома стояли очень близко, окна в окна. По двору, между песочницей, железными качелями и дворовым столиком для домино, носились двое. Тощий подросток в сатиновых

чёрных трусах и без майки и его мать, Агиля, в неуклюжем цветастом халате и восточных тапках с большими помпонами. Вот она поймала сына, вцепилась в него и с трудом удержала; Мансур продолжал рычать в неё, колотил руками по спине.

– Ай-й-йя! Билал! Билал!

Наконец Мансур обмяк и начал всхлипывать, а потом икать, как перекормленный младенец.

Дверь в мою комнату приотворилась.

– Это что такое? а? – спросила мама шёпотом.

– Мама. Ты же видишь сама. Билала убили, – я ответил жёстко и громко, сразу же об этом пожалел, надо было как-то мягче, исподволь, но поздно.

Мама вздрогнула и решилась переступить порог. Остановилась возле двери, ко мне не подошла.

– Какого Билала? Как это убили?

Когда происходило что-то страшное (умер дед, отец объявил, что уходит), мама защитно глупела: не понимаю ничего, отстаньте.

– Мам, Билал у нас один. Шархемуллин. Тот, который поехал в Афган.

– Кто убил? За что убил? Зачем? – мама сделала мелкий шажок мне навстречу.

– Слушай, мам, – я снова потихоньку начал раздражаться. – Зачем людей на войне убивают?

– Алёшенька, какая война? – Мама наконец приблизилась ко мне вплотную и трусовато посмотрела сквозь окно на улицу.

– В Афганистане, мам. Зачем спрашивать, если ты сама прекрасно знаешь? – Я подвинулся, чтобы она разглядела получше, но мама отшатнулась от окна.

– Ну какая там война? Там только в столице, в Кабуле, наш ограниченный военный контингент?

Хотел я её обличить: мол, из-за таких, как ты, мамуля, всё у нас и происходит, вам слишком выгодно *не знать*. Но у мамы было заспанное, жалкое лицо, а на щеке заматина от скомканной подушки; мама смотрела с мольбой – сыночка, пожалуйста, не говори мне правду, ну ты же знаешь, как я боюсь... И вместо пламенных речей и порицаний я осторожно её приобнял. Мама обмякла, прижалась ко мне – совсем как Мансур к Агиле.

Я подумал, что кожа на макушке у неё сухая, корни волос неприятно седые и ломкие, на шее пигментные пятна, на предплечьях розовые тельца папиллом. Ворот ночнушки протёрся, надо новую ей, что ли, подарить.

Вот так будет правильно, мама. Мы просто постоим и помолчим. Ничего не надо объяснять.

Тощая, застенчивая Агиля растила мальчиков одна. Муж её когда-то был вахтовиком, жил то в Москве, то в далёком каспийском посёлке, по советским меркам много зарабатывал, «жигули»-пикап, роскошная «двойка», гэдээровский сервант из дорогого гарнитура «Хельга», дефицитная румынская стенка из светлого дуба, на стенах – ковры рокового венозного цвета. Всем семейством – отпуск в санатории, в Крыму. Или в доме отдыха Верховного совета в Пятигорске. Шархемуллин гордился собой. В отличие от этих русских он не пил и даже не курил, всё свободное время что-то строгал на балконе, а летом выходил из дому в трениках с большими пузырями на коленях, подворачивал застиранную майку, выпуская на волю живот, и начинал окучивать кусты шиповника, поливать змеиные сплетения настурций и выщипывать назойливые сорняки.

Но однажды Шархемуллин-старший улетел на вахту – и не вернулся. Говорили, вертолёт зацепился за вышку и рухнул в Каспийское море; никого не удалось спасти. Агиля неделю

выла на балконе, а потом пошла работать в нашу школу, нянечкой-уборщицей на ставку и на полставки – ночной сторожихой, через двое суток на третьи. Сатиновый синий халат, деревянная швабра с намотанной вафельной тряпкой, въевшийся запах карбола и хлорки, неизбывная, пожизненная нищета.

Мансур незаметно отбил от рук. Он не прогуливал и не хамил учителям; сидел на первой парте, преданно смотрел в глаза и всё время кивал, как болванчик. Но при этом тихой сапой фарцевал, выменивая у иностранцев на значки жвачку, и приторговывал ею в сортире. Пятьдесят копеек стоил кубик «Дона Педро», розовый, пахнувший мылом и пудрой; за пятьдесят копеек Мансур отрывал половину шершавой пластинки «Джуси Фрут», двадцать пять копеек брал за жёсткую канадскую подушечку, которая крошилась, выпуская ядовитый сок. Много раз его ловили, директор созывал собрание, учителя и гладкошёрстные отличники наперебой песочили Мансура. Агиля, похожая на мумию, неподвижно стояла в дверях. Мансур привычно обещал, что больше никогда и ни за что. Надувал живот и щёки, верноподданно вскидывал руку в салюте. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь... как завещал великий Ленин. Разумеется, назавтра набивал карманы пионерскими значками и дрессированной мартышкой приплясывал у «Метрополя»: сэр, мэм, плиз, чейндж, чуингам.

А непроницаемый Билал был гордостью своей полуоборванной семьи – и предметом лютой ненависти в нашем классе. Все убегали с урока – и только Билал оставался, причём сдавал зачинщиков учителям. Ему устроили однажды тёмную, но оказалось, что Билал – спортсмен, качает штангу, так что больше на него никто не покушался. Все давали списывать без разговоров – он локтем прикрывал тетрадь с домашкой. На переменах сидел за партой и без конца решал задачи по химии для поступающих. На страницах толстой тетради за сорок восемь копеек, отвратительно пахнущей казеиновым клеем, разрастались пчелиными сотами схемы, руки у Билала были в цыпках – от химических растворов – и в несмываемых потёках чёрной пасты... После школы он быстро и жадно обедал в столовой (Агиле полагалась бесплатная порция, она отдавала ему, умилённо сидела напротив, мальчику надо расти). И уезжал во Дворец пионеров: там была отличная химическая лаборатория. Или шёл в спортивную секцию в подвале при ЖЭКе.

Школу он окончил с золотой медалью и подал документы в Менделеевку, на перспективный силикатный факультет. Силикатчиков охотно брали в министерство, они сидели в тихих кабинетах или ездили с инспекциями на места... С тех пор его никто из одноклассников не видел. Разве что пересекались в овощном. Привет. Здорово. Как сам. Нормалды. Говорили, что Билал надеется на комсомольскую карьеру и даже выступал на конференции в горкоме, в знаменитом доме Кнопа, похожем на вычурный замок с торчащими ушками шпилей.

А потом случилось непонятное. Комсомольский отличник Билал не получил нормального распределения. А получил – на полустанок в Апшероне. Забытый богом, совершенно ненадёжный. Он отказался и пошёл в военкомат. Сначала служил под Ковровом, а зимой восьмидесятого попал в Кабул.

В самом начале июня, незадолго до отъезда в этот чёртов стройотряд, я случайно столкнулся с Билалом. Тот сидел во дворе на краю деревянной песочницы и, опасаясь запачкать штаны, аккуратно курил. Лихая пятнистая форма, жёстко перетянутая портупеей, из-под расстёгнутого ворота видна тельняшка; кепка с удлинённым модным козырьком, на груди блестящие бирюльки.

– Привет, Билал! – я поздоровался первым.

– Привет, – Билал посмотрел отстранённо. – Обойди меня с другого бока, я не слышу.

– Что с тобой? – не понял я.

– Ничего особенного. Контузия. Во, гляди.

Билал затаился, зажал пальцами нос и выпустил синюю струйку из уха.

– Учись, салага. Называется дракончика пустить. Солдатне и начальникам нравится.

Говорил он со спокойным равнодушием. А? ты тоже здесь? ну хорошо. Уже пошёл? Нормалды, до скорой встречи.

И вот Билала больше нет. Где-то там, за горизонтом, перестал существовать хороший мальчик. Словно взяли ластик и затёрли контур. Остались разрыхлённая бумага, чёрные окатыши резинки и марганцовый запах грифеля.

Мансур затих. И покорно поплёлся домой. Я тоже разомкнул объятия, мягко отстранил расстроенную маму. Время сочувствия вышло. Нужно было вставать на молитву.

4

Для домашней (я гордо называл её келейной) молитвы был приспособлен встроенный шкаф, что-то вроде крохотной кладовки; раньше дед использовал его как мастерскую. Дед садился спиной к окну, откидывал столик на петлях, зажигал лампу на прищепке и с утра до вечера строгал, пилил, подтачивал и красил. На верхней полке стояли прихотливые коряги, грибы-наросты, круглые спилы стволов. На средней лежали ножи. Самодельные, из плексигласа, рукояти отливали красным, перламутровым, зелёным. Здесь же было несколько баночек с пастой для полировки, кожаный правёж и хищные стамески. А на главной полке – токарный станочек, чёрный, с тяжёлой чугунной станиной. У зажима – клыкастая морда, а какие вкусные слова произносил любимый дед! «Фреза», «бобышка», «передаточный вал»... Дед надевал огромные защитные очки и делался похожим на купальщика в подводной маске. Зажимал в зубах мундштук, посасывал его, как леденец, и быстро-быстро давил на педали, молитвенно покачиваясь в такт.

Здесь давно уже ни деда, ни станка, ни заготовок. Вместо бывшей кладовки домашний алтарь, так я его называл. Заходит в комнату чужой – и видит только старые зеленоватые обои, сурового вида тахту, покрытую клетчатым пледом, над ней – старинные часы с тяжёлыми гирьками и барометр в резной оправе: БУРЯ, В. СУШЬ, ПЕРЕМЁННО. Вдоль свободной стены – стеллажи из толстой морёной сосны – тоже наследство от деда. У окна – полированный стол. Всё обыденно, облезло, как у всех.

Но открываешь дверцу встроенного шкафа – и попадаешь в мирную нездешнюю обитель. Все внутренние полки вынуты, оставлена только одна. Она задёрнута шёлковой шторкой, цвета вечеряющего неба. Сдвигаешь шторку, а за нею – как будто подсвеченный кукольный домик. В центре домика – большая самодельная икона: цветная репродукция рублёвской Троицы, наклеенная на фанеру и по краям протравленная йодом. Как будто настоящая, старинная. По бокам – такие же фанерные иконы, но поменьше: Спас Нерукотворный с неотмирным взглядом, Рождество Пресвятой Богородицы, где Мария возлежит, как настоящая усталая роженица. Перед иконами, на белом кружеве с курчавым восковым натёком, – намертво засохший артос и тёмно-жёлтые окаменелые просфоры.

Одну из них, нечеловеческих размеров, мне подарил отец Георгий. Я навсегда запомнил этот день: очередь была завей верёвочкой; я терпеливо достоялся до креста, и хитрый, добродушный батя сверкнул золотыми очками: «Алексей! Так ты же ж сегодня у нас именинник. Многая лета, Алёша! Погодь, не спеши». Передал весомый крест молодому священнику, на секунду вернулся в алтарь – и гордо вынес это чудо православной кухни. Пышную, ровную, с крышечкой, напоминающей афганскую пуштунку. Просфоре было хорошо в большой руке отца Георгия, а на моей ладони она помещалась с трудом.

А ещё в шкафу была бордовая лампада из неровного, в воздушных пузырьках стекла. И пасхальные красные свечи в маминой серебряной карандашнице. (Она её долго искала;

видимо, в конце концов нашла. Но промолчала.) Засохшие бутоны жёлтых роз. Плоские медальки лунника, мерцающие перламутром. Оранжевые колбочки китайского фонарика.

Я долил «деревянного» масла, промял засохший кончик фитиля, протёр зачернённые жирные пальцы особой салфеткой, нарочно предназначенной для этих целей (я стирал её отдельно, чтобы не смешивать с грязным бельём), и чиркнул охотничьей спичкой. Пламя было крупное, опасное. Затенённое пространство алтаря преобразилось. Колеблющиеся отсветы легли и на цветы, и на иконы, тяжёлым светом налилась лампада, ночными звёздами мерцали пузырьки. В качестве ладана я использовал золотистый кусочек смолы, привезённой отцом с Валаама; смола не хотела разгораться, янтарные комочки тужились, сипели и внезапно разрешались дымом, от которого глаза слезились, а душа наполнялась восторгом. Сразу хотелось молиться.

Я открыл свой крохотный молитвенник – записную книжку в кожаной обложке, куда со всеми ерами и ятями переписал молитвы утренние и вечерние, а также затяжное правило перед причастием и мучительно длинный покаянный канон. И стал свистящим шёпотом читать, освобождаясь от вчерашних стычек мамы с Мусей, отрешаясь от сегодняшнего утреннего ужаса, отстраняясь даже от заветного *письма*. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. И очисти беззаконие мое. От сна встав, полунощную песнь приношу Ти, Спасе...

И чем дольше я читал молитвы, тем расплывчатее становился воздух и сосредоточеннее – тонкий свет.

5

По пути в родимый университет, где предстояло объяснение с деканом, я решил заехать в храм к отцу Илье. И потому что разбудили слишком рано, и потому что я соскучился по этому пророческому басу. Да и в церкви не был полтора месяца... На ранней литургии было пусто и безлюдно, как всё в олимпийской Москве. Синий воздух в светящемся куполе. Бордовые блики лампад. Длинные мёртвые тени на прессованной мраморной крошке. Каждый звук усилен многократно: испуганно потрескивают свечи, служка, деловито топоча, перетаскивает хлебную корзину с просфорами...

Голос громовержца бился в тесном боковом притворе. Спаси люди Твоя! – требовал отец Илья. Не получив ответа, он усиливал нажим: и благослови достояние Твое! И не остави нас, уповающих на Тя! Слышишь? Не вздумай оставить!

Но так по-домашнему пел безалаберный хор, старческими надтреснутыми голосами, что внимание моё само собой рассеялось. Я приказывал себе: сосредоточься, но глаза меня не слушались – и разбегались. На царских вратах поползла позолота; голубую дымку от кадила спицами протыкали яркие лучи; ожиревшая муха лениво оттолкнулась лапками от люстры и спикировала на оконную герань. В алтаре отчётливо и дробно повторяли поминальный список: Анны, Анны, Георгия, Пантелеимона, Нины, Нины, Нины, особо выделяя череду имён – Николая, Александры, Ольги, Марии, Татьяны, Анастасии, Алексея... И порядок имён, и нажим, с которым их произносили, наводили меня на смутное воспоминание, однако на какое именно, я всё никак сообразить не мог и страшно мучился. Ну кто это, кто это, кто...

После Херувимской отец Илья взошёл на солею возле иконы Нечаянной Радости, опустил шишковатую голову и бегло, словно даже неохотно перечислил общие грехи: исповедаю аз многогрешный, назовите свои имена... гордостью, самомнением, высокоумием, самолюбием, честолюбием, завистию, превозношением... грешен? Грешен, Господи... Большинство грехов меня не касалось, но на «нечистых, блудных помышлениях» я, как всегда, почувствовал укол стыда. Ну куда мне спрятаться от этих помышлений? Они преследовали по ночам, накрывали во время молитвы, как душное облако, голова туманилась, тело слабело, хотелось сдаться на милость врагу... Исповедуясь, я прикрывался ритуальной формулой, а священники стара-

лись не вникать — помышлял так помышлял: такое дело; только отец настоятель однажды спросил: рукоблудствуешь, что ли? Но отец Илья не требовал даже проформы; если исповедник не настаивал на разговоре, он молча возлагал на голову епитрахиль, остро постукивал пальцами, как будто забивая мебельные гвоздики, и широко, медлительно благословлял.

Дело неуклонно шло к причастию; я с интересом следил за тем, как священник и диакон в алтаре меняются очками, у одного близорукость, у другого дальновзоркость, краем уха различал рокошующие звуки. Как ни придавливал себя отец Илья, как ни старался перейти на шёпот, голос то и дело вспыхивал и прорывался сквозь заслоны: бу-бу-бу-бу шестикрылатии... бу-бу-бу пернатии... И это было так красиво, что захватывало дух от умиления, а сердце начинало больно колотиться.

Наконец отец диакон с видимым усилием, как физкультурник гирию, поднял тяжёлый подсвечник, священник распахнул скрипучие ворота и, не пригашивая взгляда, прогремел: верую, Господи, и исповедаю... Я стал податливее воска. Сложил крестообразно руки, полузакрыв глаза и сделал робкий шаг вперёд.

«Верую!» — легко и глубоко. «Приимите!» — с сердечной радостью. «Со трепетом!» — именно так.

Поднялся на одну ступеньку, росту мне не хватило, заступил на другую — и взгляд упёрся в край огромной медной чаши. Я произнёс, как пароль, своё имя и осторожно принял сладкое причастие.

На секунду меня захлестнуло, я не помню, как принял запивку, как достоялся до выноса креста; помню только, что я закрыл глаза, а когда их открыл, то увидел старую, костистую и пахнущую мылом руку. Я вежливо её поцеловал.

6

После службы я умял подсохшую просфорку и запил её святой водой из металлического чана. Оставалось полчаса до поздней литургии, служки разворачивали алую ковровую дорожку, ловко, как приказчики в одёжной лавке, перетаскивали стихари на самодельных проволочных вешалках, отравнивали медные подсвечники и вытряхивали ящики с огарками. Настоятель перед царскими воротами шёпотом читал входные молитвы. Было тихо, дышалось легко; огромные окна распахнуты настежь, за ними — густые деревья, сквозь которые не пробивалось солнце. Выходить на жару не хотелось. Но времени было в обрез: обычно декан принимал с десяти, а в одиннадцать срывался с места и спешил к проректору на ежеутреннее совещание.

С трудом открыв величественную дверь (умели строить предки наши, богатыри — не мы), я остановился на широкой лестнице. Тут уже солнце светило нещадно. В густой тени стояли опытные нищенки, они смотрели жадными кошачьими глазами. Как только отворялась дверь и появлялся свежий прихожанин, одна из нищенок решительно перегораживала путь и смотрела на клиента молча, не мигая. Ну. Будем жертвовать на пропитание? Подадим Христа ради? Или как? Прихожанин поневоле суетился, попрошайка царственно молчала.

Мне досталась бабка в бязевом платочке, с доброй улыбкой и взглядом удава. В кошельке не оказалось мелочи, а купюры были только крупные: десятка, пятёрка, трояк. Я приготовился расстаться с трёшкой — а это четыре обеда в профессорской столовой, два сборника в букинистическом или шестьдесят поездок на метро, но тут подоспело спасение. Вдалеке я увидел Насонову — высокую, непоправимо тощую, в несуразной, неряшливой кофте, похожую на персонажей позднего Малевича. Голова была повязана косынкой, чёрной, капроновой, жаркой, по-кавказски затянутой сзади. Насонова писала диссертацию по логике, а до этого училась на матмехе в Ленинграде. Откуда она родом, я не знал; судя по тому, как Аня обращалась с гласными (Нговицн, ты чтал дыбротылюбье, что скажшь), детство она провела вдалеке от столиц;

кто её родители, чем занимаются и где живут, она не сообщила. И то сказать, мы не особенно дружили (несмотря на пожелание *оттуда*), хотя встречались в храме регулярно. Здоровались, обменивались книгами – и расставались. А когда пересекались в МГУ, то не общались. Кивали вежливо, издалека. И расходились.

Аня, как всегда, шагала быстро; чёрная монашеская юбка резко заворачивалась вокруг ног.

– Аня! – крикнул я и вежливо подвинул попрошайку в сторону: – Простите. Аня, погоди! Насонова от неожиданности вздрогнула, остановилась, на лице её отобразился ужас.

Я подошёл к ней:

– Привет!

– Здравствуй, – Аня увернулась от непрошеного поцелуя и почему-то покрылась нервными пятнами.

– Ты на позднюю?

– На позднюю. А ты уже?

– Уже. Ты чего такая? Словно неродная?

– Я была уверена, что ты вернёшься в сентябре. – Отвечала она глухо и смущённо.

– Пришлось пораньше... по семейным обстоятельствам. Еду к Павлу Федосеичу, отмазываться буду.

– Что, прямо сейчас? В деканат? – дрожащим голосом спросила Аня и окончательно побагровела.

– Тебе плохо?

– Нет, просто жарко. – Она достала из брезентового рюкзака старушечий помятый веер и стала напоказ обмахиваться: видишь? – Так что, действительно прямо сейчас?

– Ну конечно, а когда ещё? Ананкин в выходные на работе, он же у нас трудоголик.

– Да, – слабым эхом повторила Аня, – трудоголик.

Она была как будто не в себе; то её бросало в жар, то в холод, то она как будто тормозила, то начинала дробно бормотать. Да что с ней такое случилось? Чтобы как-то завершить невнятный разговор и распрощаться, я с полным безразличием спросил:

– Ты будешь в следующее воскресенье? Книжками махнёмся?

– Нет, – встрепенулась и почти обрадовалась Аня, – в то воскресенье ничего не выйдет. Я в то воскресенье работаю.

Я удивился:

– А где?

– В приёмной комиссии в пед. – Насонова заговорила мягче и спокойней. – В субботу начнётся приём, а потом уже с рассвета до заката. Да, и в общежитии меня не ищи, – добавила она и снова стала сумрачной и отстранённой. – Я переехала в Голицыно, к подруге, там у неё огород, огурцы, мы с ней и клумбу разбили...

Зачем она мне это говорила? Как будто я её когда-нибудь искал...

Вдруг Насонова пробормотала странную, совсем уже бессмысленную фразу:

– А в общем, как будет, так будет. Прощай.

– До свидания, Аня.

7

В гуманитарном корпусе тоже было прохладно и гулко – как в церкви. В необъятном холле с толстыми прямоугольными опорами и низкими, как бы приплюснутыми потолками эхом отзывался каждый шаг. Обычно возле лифтов собирались толпы; первокурсники по-школьному галдели, дипломники общались с профессурой. Жанна Серафимовна, а можно сдать работу по Ярхо не завтра? – У вас должна иметься веская причина, Гроссиус. – Да, при-

чина более чем веская. Мне на ночь дали машинописный сборник Бродского. – Ну так и быть. А мне дадите?

Но в тот день в гуманитарном корпусе царила тишина.

Панорамное окно на философском этаже покрылось серыми затёками; город проступал, как фронтовые укрепления сквозь маскировочную сетку. Просторный, неухоженный, заросший. Скалистый контур главного здания. Тяжёлые мохнатые холмы. Перевернутый гигантский капсюль стадиона. К Лужникам я должен был подъехать в половине первого – Муся умолила побывать разок на ватерполо:

– Ну котик, ну пожалуйста, ну я прошу.

И закрепила просьбу поцелуем.

В приёмной декана сидел Иваницкий, доцент неизвестных наук. У доцента были длинное козлиное лицо, брови запятой и острый треугольный подбородок. Развернув офицерские плечи, Иваницкий перелистывал «Известия»: поплёвывал на пальцы, отслаивал газетный лист, разворачивал его и бил наотмашь, чтобы полоса сама сложилась вдвое. Быстро пробежал глазами, снова бил. Пожилая секретарша Павла Федосеевича, баба Оля, тюкала по клавишам огромной пишущей машинки «Оптима» и в сторону доцента не смотрела. Иваницкого, которого прислали года полтора назад – приглядывать за факультетом, не любили. На философском было принято решать вопросы любовно, а доцент являлся на чужие лекции, сверял заполненную ведомость с «количеством наличного состава», писал докладные декану и проносил на собраниях грозные речи о потраченных на обучение «средствах». Возражений он не принимал:

– Неправильный тезис, что вы не понимаете, почему вы не услышали мои осекания и уходите во внутренний диалог?!

Дверь в приёмную приотворилась, в образовавшуюся щель трусливо сунул голову курчавый выпускник:

– Пал Федосеич у себя?

– Не подошёл ещё, – сказала баба Оля с придыханием и сразу поменяла тон: – А вы по какому вопросу?

Курчавый выпускник затараторил, как бы опасаясь, что его прервут:

– Меня отдел аспирантуры завернул. А у меня целевая, и кафедра рекомендует. Вот, – он зачем-то показал бумажку с провинциальным размашистым росчерком.

Иваницкий, оторвавшись от газеты, демонстративно долго изучал выпускника. Общий план – сутулая фигура, средний – впалая грудь и сведённые плечи; на крупном плане – нависающий нос и семитские губы. После чего лениво и презрительно заметил:

– Это я им запретил по причине основания. Есть мнение, что вам не надо.

– Не надо что?

– Идти в аспирантуру.

– Не понял. Объясните почему. – Выпускник стал свекольного цвета, глаза заблестели.

– Да как вам сказать? Потому.

Иваницкий снова хлопнул по газетному листу, газета послушно сложилась. Выпускник всё понял, но ответить не решился, только скрипнул зубами и слегка пристукнул дверью.

Декан вошёл стремительно. Старое лицо его, с упрямо выпирающими скулами, впалыми щеками и грифельно прочерченными складками от крупных крыльев носа к подбородку, сохраняло выражение брезгливости. Он был из поколения последних довоенных вольнодумцев, романтически влюблённых в молодого Маркса. Гнусавым голосом усталого пророка он наизусть цитировал любимые отрывки из «Дебатов шестого ландтага», заметок о прусской цензуре, «немецкой идеологии». Причём сначала по-немецки и только затем в переводе. В этом было что-то эротически неутолимое; даже я порой испытывал волнение.

– Иваницкий, заходите! – сановно предложил декан; меня он словно не заметил.

Тот бобиком метнулся в кабинет. Вышел через несколько минут, растерянный, злой. Одёрнул пиджак, как поправляют мундир, и гордо покинул приёмную.

Я встал наизготовку.

– Обожди, Ноговицын, – тормознула меня баба Оля. – Не спеши, не гони, мы тебя позовём.

Заварила перечную мяту из горшочка, на чёрно-красный жостовский поднос поставила забавный жёлтый чайник, заботливо накрыла полотенцем, посмотрелась в зеркало и влюблённо постучала в дверь, над которой висела алая табличка с золотыми буквами: «Ананкин Павел Федосеевич, декан, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, зав. кафедрой диалектического материализма».

– Можно! – булькнул селектор.

– Следуй за мной, Ноговицын, – позвала секретарша и сердито добавила: – Куда вылезешь вперёд? Лучше дверь поддержи.

Окно в кабинете декана было плотно зашторено, на тяжёлом дубовом столе сияла карболитовая лампа, как бы зависшая в полупоклоне; свет падал на руки Ананкина – слишком тонкие, холёные, с мертвенными белыми ногтями, выпуклыми, как виноградины, – а лицо его тонуло в полумраке.

– Присаживайтесь, Ноговицын. – Ананкин никого не звал по имени и отчеству, только по фамилии, официально.

Заранее сучая, он принял заявление. Пробежал глазами, растопырил пальцы и сместил листок на самый край стола, как бы намекая на отказ; жесты были отработанные, театральные, собеседник должен был почувствовать тревогу.

– А чего ж так рано сорвались? Вы вот пишете – «возникшие проблемы со здоровьем». – Павел Федосеевич придвинул заявление ко мне и неприятно чиркнул длинным ногтем по бумаге. – Когда возникшие? Где справка от врача?

Я знал неписанные правила: декан всегда сначала должен поворчать, а проситель – немного понюхать.

– Павел Федосеевич. Какая справка? Там один медпункт на сотню километров. Легковых машин в отряде нет, трёхтонку гонять не позволят. Я завтра справку получу, в институтской поликлинике, и приложу.

Брови сдвинулись, нависли над глазами; Ананкин принял образ громовержца.

– Вы когда в Москву приехали? Вчера?

– Вчера, – подтвердил я.

– А по какой такой причине вы её вчера же и не получили?

– Павел Федосеевич. Ну вы же знаете: вчера была суббота. Это вы по воскресеньям в кабинете, а врачи предпочитают отдыхать...

Я подыгрывал ему и ждал, когда он сбросит маску.

– Ничего не знаю, Ноговицын. Не знаю и знать не хочу. Дежурные врачи всегда на месте.

На этом роль администратора Ананкину наскучила; он кисленько скривился и поставил росчерк.

– Вот.

– Спасибо, Павел Федосеевич.

– В следующий раз... а впрочем, чего это я, не будет никакого следующего раза. Вы когда у нас выходите по плану на защиту? В октябре? – Он откинулся на спинку кресла и показательно забарабанил пальцами. – Да-с! И сколько ж мы таких навывпускали, безработных. Вот на хрена, скажите мне, товарищ Ноговицын? Что молчите? Правильно молчите. О чём хоть сочинение? Очередная критика бессмысленного разума? Или буржуазная эстетика? Вы у ко-го там?

– У Петрищева. А консультантом – Сумалей.

Ананкин и вовсе скривился, как будто откусил недозрелое яблоко.

– А... философские аспекты урбанизма? Нет? Ах, скажите нам на милость: любомудры... А хотите, я скажу вам правду, Ноговицын? А? С большевистской прямотой? Вы про что угодно будете писать, лишь бы вас избавили от Маркса. Вы от него как черти в омут. А перечитали бы про восемнадцатое брюмера и нищету немецкой философии... про возвращение к мечу и рясе, про веру в чудеса как признак слабости... Да что я! Вам идеалистов подавай, а про марксизм пускай вот эти вот доценты с кандидатами... Храм не посещаете, надеюсь? А то сегодня модно... Что молчите?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.